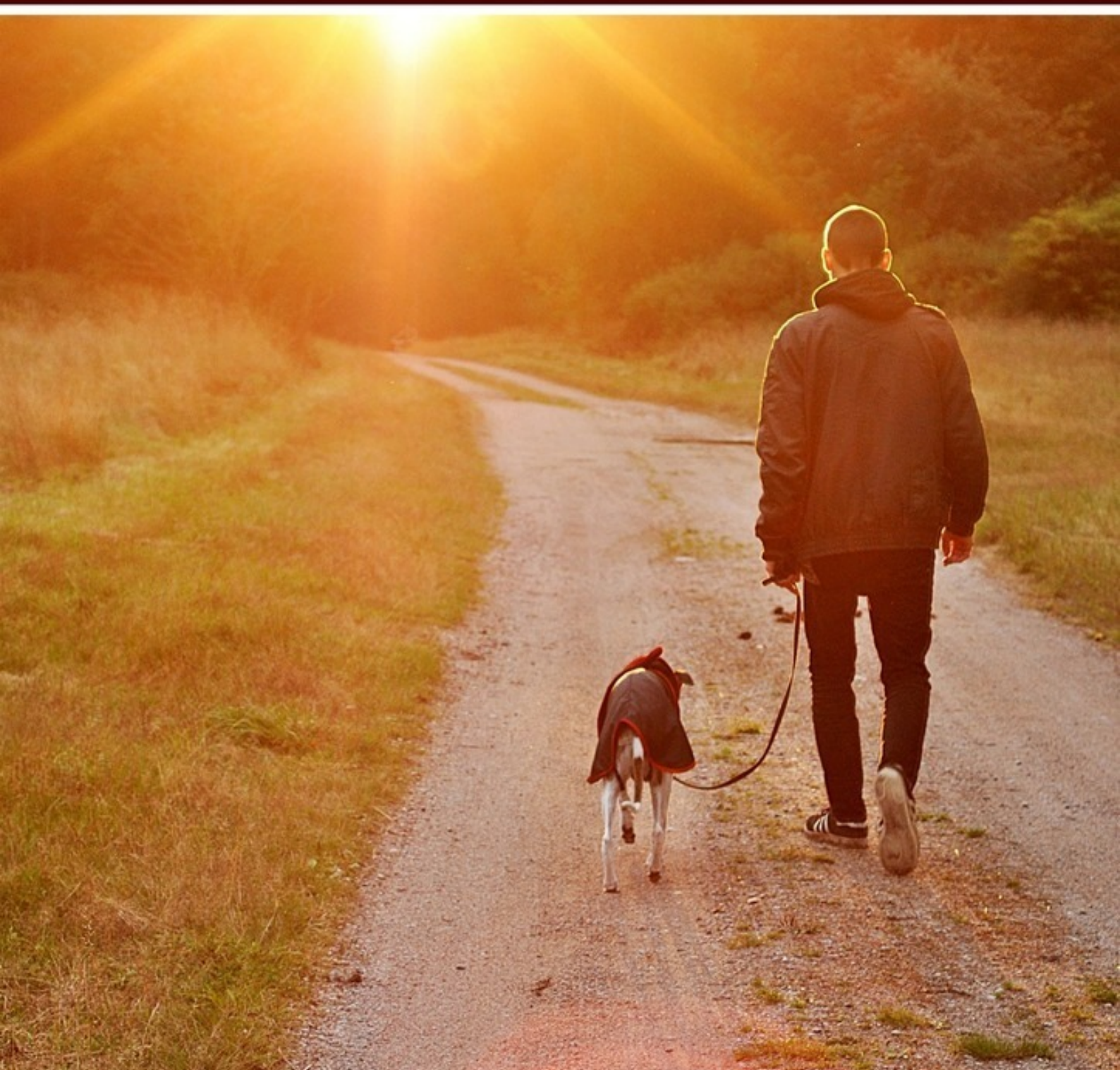


АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ

**УГОЛОВНИК, или
Собака в грустном углу**



Александр Кириллов

**УГОЛОВНИК, или
Собака в грустном углу**

«Издательские решения»

Кириллов А.

УГОловник, или Собака в грустном углу / А. Кириллов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-830533-7

Эта книга — о безжалостно уходящем времени, которым пронизаны рассказы и повести; о безответной любви, уносимой Летой — её беспмятным и мутным потоком; о грубо попираемом достоинстве; о проигранных жизнях; о стоическом терпении; о насущном хлебе воспоминаний; об одиночестве «homo solitaries»: человека изначально одинокого, временами беспечного и суетного, но в час «Икс» вынужденного принять свою судьбу. Эта книга о сострадании и жалости к человеку, к его земной юдоли.

ISBN 978-5-44-830533-7

© Кириллов А.
© Издательские решения

Содержание

Рассказы	8
С любимыми не встречайтесь	8
Нечаянная старость	17
Желтые дожди	25
Она	36
Душа и инфаркт миокарды	42
Дальняя дорога	52
Затмение Апостола	68
Первый встречный	74
Конец ознакомительного фрагмента.	79

УГОЛовник, или Собака в грустном углу

Александр Кириллов

© Александр Кириллов, 2016

ISBN 978-5-4483-0533-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



**Эпохе Застоя
посвящается**

Теперь, когда так много было,
И не было, со мной одни
Несостоявшиеся дни...

«Нет, хуже! – каркает сосна. —
Не состоялись Времена...»

Вл. Соколов

Рассказы

С любимыми не встречайтесь

Димыч спустился к желтому двухэтажному дебаркадеру с маленькой гостиницей на втором этаже, перешагнул через мотки черной промасленной веревки, прошел по шаткому мостику и поднялся по крутой лестнице на опоясывающую дебаркадер открытую террасу.

Он очень торопился. Минувя окно одного из номеров гостиницы, Димыч мельком заметил огненно-рыжие волосы, склонившейся над чемоданом женщины. Она показалась ему знакомой. Он даже хотел остановиться, чтобы лучше её рассмотреть, но передумал. «Должно быть, крашенные», – решил он, толкнув дверь из террасы в коридор гостиницы. В своей жизни он только однажды встречал женщину с похожими по цвету натуральными волосами. Было это давно. Она училась на их курсе. Звали её Ларисой.

Оказавшись в темном пустом коридоре, Димыч мысленно стал прикидывать, в каком номере она остановилась. Справа по коридору, но – в каком? 12-ом? Дверь в номер была приоткрыта. Вероятно, сюда только что въехали. Он сделал попытку на ходу заглянуть в комнату, но не успел – дверь прикрыли.

В номере, где поселился Димыч, ужинали. Было темно, пахло луком и винными парами. Сосед, командированный из Гжельска, ничем не примечательный мужчина, и закусывавшие с ним двое гостей с загорелыми шеями в расстегнутых спецовках, стали настойчиво приглашать Димыча за стол. Пришлось объяснить, что он торопится на вечернюю «Ракету».

– А она два часа, как ушла, – обрадовался сосед, – суббота сегодня.

Димыч расстроился. Провести вечер и душную ночь на дебаркадере в компании пьяных мужиков не сулило ничего приятного,

– Садись с нами, – радушно подставили ему стакан, – выпей покуда, закуси, а завтра раненько уедешь.

Раздосадованный, он выпил, чтобы хоть как-то скрасить себе долгий гостиничный вечер, понюхал корочку ржаного хлеба и закурил.

Четырехместные номера на дебаркадере, узкие и длинные, освещались вечерами так тускло и сумрачно, что от напряжения слезились глаза. По ночам же постояльцы обливались потом, изнемогая от жаркой духоты номера и тяжелого запаха столярного клея, тухлой воды и соленой рыбы.

Слегка захмелев, Димыч смотрел на аппетитно закусывавших соседей, слушал их неторопливую, рассудительную беседу и скучал.

Вдруг что-то рыжее мелькнуло в створе окна. Димычу показалось, что прошла женщина из 12-го номера. Он выглянул, никого не увидел и, побуждаемый любопытством, отправился на террасу.

Смеркалось. Неподалеку от дебаркадера покачивалась беленькая плавучая пристань. Изредка нарушая однообразный гул тракторов, причаливали к ней речные пароходы, с застуженным горластым криком: белые, тесные, тихие и сонные.

Ожидая, когда появится у перекинутого на берег мостика та, что промелькнула в окне, Димыч швырнул окурок в черную от масел воду, колыхавшуюся между дебаркадером и деревянным причалом.

Дробно отозвался на мелкие шажки дощатый мостик. Рыжеволосая девушка, сойдя на берег, не оглядываясь, поднималась вверх по дороге к речному вокзалу. Длинные локоны, подхваченные ветром, разделялись на затылке ровными прядями и скрывали лицо. Но походка, манера держаться, а главное, волосы – все разом выдало ему, что это она. «Лари-са-а-а!» –

вдруг, по-мальчишески во всё горло, захотелось крикнуть ему, но он удержался. «Совсем спятил от скуки», – ругнул он себя.

Еще в Москве он что-то предчувствовал, или ему теперь так казалось, но что-то творилось с ним в последние дни. Это что-то заставило его неожиданно-негаданно изменить планы, и вот – занесло сюда, в неприметный городишко на берегу Оки. Перед отъездом он решился наконец сделать предложение Ане, своей старой знакомой, которую изо всех сил сватала ему мать. Взял на работе отпуск, который намеревался провести как медовый месяц, но всё тянул, откладывал разговор со дня на день, соврал ей по телефону, что уезжает в командировку, и стал укладываться. Мать молча наблюдала за его сборами, как всегда спокойная, сдержанная, рассудительная, и только прощаясь с ним, предупредила в дверях: «Сын, ты у меня умный мальчик, смотри, не сделай глупости, не доверяй сердцу, чувства непостоянны, а Аня – твоя опора в жизни, твой друг. Не забывай это».

«Неужели... двенадцать лет?» – подсчитал он растерянно. И вспомнил институт, себя – семнадцатилетнего, худого, с тонкой шеей, еще по-детски нежной кожей, одинаково красневшей от смущения и малейшего ветерка; вспомнил Ларису и всё пережитое с нею, – и вдруг почувствовал не то горечь, что ушло, не то радость, что это было. Он очень изменился с тех пор: погрузнел, раздался в плечах, волосы поредели, выцвели, кожа обветрилась, загрубела, но чувства к ней остались прежними.

Ждать ему пришлось недолго. Наконец в дверях речного вокзала показалась белая юбка и огненно-рыжие волосы. Отброшенные ветром они гладко облепили запрокинутую голову.

«Она» – взглядевшись, узнал Димыч, ощущая, как сердце при каждом ударе болезненно соприкасается в груди своей тонкой оболочкой, вдруг ставшей нестерпимо чувствительной.

Они встретились в коридоре гостиницы: растерянные, смущенные, преувеличенно-радостные как старые друзья.

– Тебя не узнать, – изумленно отступила на шаг Лариса. – А вот я мало изменилась. Мне все это говорят, – и она с вызовом тряхнула головой.

– Позвольте, студенты, пройти, – остановился перед ними пожилой мужчина в пижаме с горячим чайником.

Они поспешно расступались, и оба заулыбались.

– Димыч, а мы еще, действительно, ничего, слышал?

И вдруг она спохватилась:

– Прости, меня ждут в номере.

– Мы еще увидимся?

– Я только на одну минутку, отнесу билеты.

И уже собравшись уходить, вспомнила:

– А ты всегда был себе на уме, хитрюга Димыч, – и ушла, оставив его недоумевать в одиночестве.

За рекой в вечернем сумраке стали заметны слабые отблески молний. Кое-где в номерах зажгли свет: косые желтые пятна, перекинувшись через перила, студенисто дрожали в воде.

– Как быстро стало темнеть, – сказала Лариса, вернувшись, и поежилась, – смотри, пароход.

Примолкнув, заморожено следили они за приближавшимся к пристани белым в огнях пароходом. Вокруг всё пенилось и колыхалось. Всё новые и новые массы черной и тяжелой воды, подхваченные многоцветной искристой рябью, плескались и бились о борт. Пароход плавно причаливал на самых малых оборотах, будто его сносило к пристани быстрым течением. Наконец, он грузно врезался в неё, полетел в воду, гремя цепью, якорь, глухо ударились выброшенные на берег канаты. Установили перекидной трап, но с парохода никто не сошел.

– Это твой? – спросила Лариса, заметив, как заволновался Димыч.

– Нет. *Мой* только утром. А, кстати, когда ты уезжаешь?

– Завтра.

– Тогда... сейчас мы что-нибудь придумаем. Ты, наверное, проголодалась? Тут в магазине купить нечего, одни рыбные консервы в томатном соусе. Я сбегая на пароход. У тебя кто в номере?

Лариса покачала в ответ головой.

– Хорошо, давай здесь. Тебе не холодно? По-моему ветер поднимается. Как ты думаешь, будет гроза?

– Похоже, что нет.

– Всё, я пошел, Жди меня здесь, а то у нас тоже людно.

Димыч купил на пароходе колбасы, яблок, хлеба, сыра, бутылку дорогого ликера и вернулся на дебаркадер.

– Я не буду пить, – замотала головой Лариса.

– Обидишь, – укоризненно заметил Димыч, состроив при этом жалостливую мину.

Она улыбнулась.

– Ладно, черт с тобой!

– Не чертыхаться, – радостно суетился Димыч, выковыривая пробку перочинным ножом.

Первой отпила она, маленькими брезгливыми глотками, а потом он – затяжными и глубокими. Закуску разложили на перилах. Яблоки съели первыми, и всё смеялись, представляя, как сыр или колбаса, нечаянно задетые рукой, летят в воду.

– Я ужасно опьянела, – вдруг заявила Лариса, прижав ладони к щекам, как бы остужая проступавший изнутри жар. – Это катастрофа.

И Димыч с удовлетворением отметил, что она действительно казалась опьяневшей.

– Слушай, время давнее, что произошло тогда? – Она с удовольствием жевала сыр, беззаботно улыбаясь.

– Ты о чем? когда? – переспросил он, не отрывая взгляд от ее привлекательной фигуры обтянутой легким цветастым платьем.

– Не надо. Не говори, – стряхнула она с ладоней крошки за перила террасы. – Я передумала.

– А что такое?

– А, ерунда. Всё равно ты помнишь теперь то, что придумал потом.

– Пока я ничего не помню, – пожал он плечами.

– А разве не так? – Она засмеялась, откинувшись назад, и чуть было не свалилась через перила в речку. – Нет. Я действительно пьяна. А который теперь час?

Димыч развел руками.

– У тебя есть сигареты?

Он достал новую пачку, и они закурили. От первой затяжки Лариса почувствовала, как сладкой волной ударило ей в голову, зазвенело в ушах и всё, покачнувшись, поплыло перед глазами.

– А почему ты не позвонил мне? Я как дура ждала твоего звонка.

– Какого звонка?

– Тогда, помнишь, ты обещал позвонить?

– Не помню.

– Видишь, а я помню... И как мы встретились в институте, и как смотрели друг на друга, стараясь угадать: поступил другой или нет, считать его однокурсником или тут же забыть... Неужели не помнишь?

– Это я помню, – подтвердил Димыч, который помнил всё, кроме своего обещания позвонить ей.

– Огурец, помнишь, который мы нашли в метро, идя из института, и там же съели его на счастье? Ты был худым, робким, но я всё равно в тебя влюбилась. Ты мне обещал на следующий день позвонить... Боже, как я ждала твоего звонка. Весь день не подпускала никого к телефону, чтобы ты случайно не наткнулся на «занято» и не раздумал звонить. До трёх ночи я все надеялась... А утром я уже тебя разлюбила, вот так. Потом...

– Мы уехали в колхоз, – подсказал Димыч, и заметил, как ее взгляд дрогнул.

Они замолчали.

– Да, Димыч, – наконец сказала она, вздохнув. – Хотя... многое из того, что помним, мы сами же и придумали. Вспоминаем чего-то, переживаем, мучаемся как дураки, а потом все оказывается... Да, да, всё наше распрекрасное прошлое – одна сплошная выдумка.

Димыч стоял спиной к перилам, прислонившись к столбу, поддерживавшему крышу террасы, и не сводил с неё глаз. А она, полусидя на перилах, поглаживала ладонью еще теплое дерево, глядя в сторону освещенного луной вокзала со старым тополем, на узловатых ветвях которого чернели брошенные птицами гнёзда.

– Ты, конечно, знаешь, что его судили?

– Как? – изумилась Лариса.

– Я узнал это случайно. Слышал в институте разговор, что Андрея судили... Я так же, как ты, удивился, стал расспрашивать и мне всё рассказали.

– А откуда они знают?

– Ты мне не веришь?

Он вспомнил душный, сырой воздух в пустом черном поле, жестком от колючей стерни, где горячо и удушающе-пахуче отдавала своё тепло вянущая трава. Вспомнил Андрея, затаявшегося с Ларисой в стогу сена, где она корчилась в сладостных муках желания и страха, одолеваемая не столько его настойчивостью, сколько собственным любопытством; вспомнил своё отчаяние, желание напиться. Вспомнил поучительней рассказ Андрея, как он из-за водки потерял жену, которую любил без памяти, даже вскрыл себе вены – и с тех пор запретил себе брать в рот спиртное. Андрей говорил, а Лариса не сводила с него глаз, всем телом жалась к нему, с обожанием поглаживая его сильную загорелую руку...

Он помнил всё, ярко, подробно, хотя давно хотел бы это забыть.

Молча докурили они сигареты, выбросив их в черный провал хлюпавшей о дебаркадер воды. Лариса потеряла озябшие плечи, её качнуло, и она испуганно вцепилась в Димыча.

– Надо идти спать.

– Никуда ты не пойдешь, – заволновался он, сознавая, что Лариса и в самом деле возьмет сейчас и уйдет. – Тебе надо прогуляться.

– Не надо.

Ветер усилился. Гроза надвигалась, заволакивая облачностью небо, и уже подбиралась к луне. Казалось, что с минуты на минуту хлынет дождь. Но впечатление это было обманчивым – гроза проходила стороной, только постанывали под ветром деревья, да сильнее, чем обычно, лихорадило речку.

– Ты мне, зачем про него рассказал?

– Просто так, к слову,

– А-а.

– Так... как же с грозой – будет она или нет? – спросил Димыч, обернувшись в сторону полыхавших зарниц.

– Я же сказала, что не будет, – успокоила Лариса. – А жаль.

– Почему жаль?

– Ах, – взмахнула она руками и заложила их за голову, – не почему!

Согнутые в локтях – они соблазнительно белели глянцевиной кожей, особенно нежные и пухлые.

– Пойдем гулять, – вялым чужим голосом предложил Димыч.

– А гроза?

И оба оглянулись. Из-за реки тянуло резким холодом. Деревья у речного вокзала протяжно шумели. Над головой было ясное светлое небо, устремленное ввысь к яркой чистоте луны, а внизу, под скрипевшей пристанью, темно дыбилась свинцовой рябью вода.

Он взял Ларису под руку, и они медленно двинулись по дороге от пристани к городу. Круто взбираясь на холм, дорога петляла между темными низенькими домиками, шла вдоль рва, заваленного старой утварью, горбилась и вытягивалась к главной площади, упираясь в реденький скверик с вытоптанной травой. Наэлектризованное небо, поглотившее луну и свинцовой тяжестью нависшее над городом, беспорядочно подергивалось лиловыми вспышками. Высоко под облака унеслась древней сторожевой башней каланча, опоясанная ребрами лестниц. Напротив неё ютился среди двухэтажных зданий укромный дворик. Отцветала клумба, источая приторный запах темно-махровых цветов. Вокруг клумбы в кустах затаились некрашенные скамейки.

– Ты замужем?

– Нет. А что? или женщина не замужем?..

Димыча удивил её холодный, чуть раздраженный тон.

– Да нет.

Он пожал плечами.

– Хочешь, посидим здесь?

Они молча присели на одну из низеньких скамеек в глубине двора, слушая, как шелестел в листве ветер, и что-то глухо падало с деревьев на землю.

– Ну а ты?

– Я свободен.

– Хорошо это ты сказал. Как-то даже с гордостью. А мне гордиться нечем, стара становлюсь. Не нужна никому. Вон – буду скоро как та старушка, – кивнула Лариса на освещенное окно первого этажа. Там, в окружении старых портретов и стеллажей с книгами, сидела у столика под лампой седенькая старушка и что-то читала, помешивая в стакане ложечкой.

– Это... с чего же ты взяла?

– Чувствую, – вздохнула Лариса. – Реже глазают, реже оборачиваются, реже пристают. Раньше меня это раздражало, а теперь обидно, что ушло.

– Что, ушло?

– Молодость, наверное, – беспечно пояснила она. – Нет, пусть глазают, заговаривают, всё лучше, чем проходят, не глядя, как мимо фонарного столба.

Она почувствовала его взгляд и улыбнулась.

– Я шучу, конечно, просто увидела тебя и поняла, что постарела.

– Так-таки и не была замужем?

– Да была, была, конечно. Что об этом вспоминать.

– И больше не хочешь?

– Не хочу. Быть прислугой в доме, стирать, готовить, убирать – не хочу. Всё от него терпишь, а он с кем-то по Кавказам разгуливает, а тебя к каждому столбу ревнует. Вот и вспомнила Андрея. С ним было спокойно – нравилась ему и всё. Никогда я не чувствовала насилия над собой, ни разу он не взглянул на меня косо, не упрекнул ни в чем... а упрекать меня было за что.

– За что же?

Она наклонилась и ковырнула каблучком землю.

– Все прошло, – наконец сказала она, распрямившись, – а главное, оба мы постарели. А не хочется. Я еще помню, как смотрела на десятиклассниц, думая, «какая красивая лента

у тётки», представляешь, у тётки, у этой шестнадцатилетней соплюшки. А когда сама перешла в десятый, мне казалось, столько лет еще у меня впереди, жить да жить, пока тридцать будет. Жила не жила, а вот они, Димыч. Если б ты знал, какие страсти у нас в классе кипели, а стала вспоминать – одни пустяки в голову лезут. Помню, дарила ему карандаш, если он свой посеет, и радовалась, что он пишет *моим* карандашом и носит его с собой, или он подсовывал мне яблоко, резинку, решенную задачку... и всё! А хорошо как нам было! А теперь: «Ну, ты, лапунька, давай, давай по-быстрому», – и вся любовь...

Им было видно, как старушка, допив чай, оставила стакан, заложила очками в книге страницу и погасила свет. Стало совсем темно, только тускло горели над подъездами пыльные лампочки.

– Я буквально заболела в последний год. Вот стукнуло мне тридцать... м-да. Смотрю, чёрт возьми, и молодости уже нет, и к старости вспомнить будет нечего. А тебя всё торопят – скорее, скорее, скорее... Пиши диссертацию, выходи замуж, рожай ребенка... и тянешься куда-то по инерции, чтобы не отстать. Ешь на ходу, недосыпаешь, летишь как угорелая – и всё дальше и дальше от самой себя. Уже не знаешь, кто ты, что тебе надо, и надо ли вообще что-нибудь... Так хочется разорвать всё это, сбросить с себя... ведь могла же раньше: раз-два – и гори оно синим огнем. А потом думаю, а я ли это была? Нет, не я.

Она поежилась и прислонилась к нему.

Из-за реки, где небо полыхало зарницами, потянуло ветром, дождливым и резким, и что-то, часто падая, зашуршало в траве.

– Дождь? – подняла голову Лариса, вытянув перед собой руку, стараясь поймать еще невидимые капли.

– Это листья падают, – прислушавшись, сказал Димыч, – пришло их время, и летят себе гнить голубчики.

– Тебе жениться надо.

– Вот уж, спаси и избави, мне мать все уши прожужжала, всё кого-то сватает.

– Ну и женись.

– Еще чего... я себе не враг. Семья... что в ней хорошего?... Счастье... – просветлел он вдруг и засмеялся – ...сидеть вот так, смотреть и слушать: там идет дождь, здесь сыплются с деревьев листья, в доме укладывается спать старушка, ты дышишь озоном, видишь рядом красивую женщину и чувствуешь... родство со всем этим...

Димыч захмелел, раскис, даже слеза навернулась на глаза.

– Ну, наконец-то, – оживилась Лариса, – здоровый мужской разговор. А то... мы, как старики, с тобой – брюзжим, брюзжим.

– Еще чего захотела, – возмутился Димыч, – старики... падагрики-радикулитчики... нет, лучше в прорубь. Хочешь, я тебе сейчас яблок нарву?

– Где?

– Вон, у старушки в саду. Хочешь яблочек?

– Хочу.

В эту минуту Димыч видел только её улыбающееся лицо и влажные губы, едва раскрывшиеся, когда она сказала «хочу». Он бросился к низкому заборчику, перемахнул через него и, осторожно ступая в темноте, добрался до первого дерева. Тряхнув ветку, осыпал себя сухими листьями, тряхнул еще. Даже влез на одно из самых кражистых, но... так и вернулся к Ларисе ни с чем.

– Обобрали их дочиста... змеи-искусители.

– Тем лучше, – улыбалась она, – молодым они нужнее.

– А что ты улыбаешься? Ну, постой, старушка, я отучу тебя дразниться.

Он напряженно улыбался, наблюдая, как Лариса вызывающе покачивает зависшей на одних пальчиках лаковой туфлей.

– А помнишь?..

Туфля свалилась на землю. Он поднял её, повертел в руках, оглянулся и зашвырнул в кусты.

– Помню...

Она закинула ногу на ногу и, тоже улыбаясь, демонстративно поигрывала перед ним оставшейся туфлей.

– ... пришел к кому-то парень, лет тридцати или моложе, – продолжал он как ни в чем не бывало, захваченный (или ей так показалось) воспоминанием, – каким же он был для нас стариком, помнишь?

– Помню, старче, – кивнула Лариса, заметив, что он упорно избегает её взгляда, – высокий... с пшеничными усами.

– Да, да, пшеничные усы, – Димыч поднял с земли вторую туфлю, свалившуюся с её ноги, и также спокойно, как и первую, зашвырнул в кусты.

Её маленькие ступни, оставшись без обуви, стыдливо исчезли на скамейке под юбкой.

– ... мы говорили, а он сидел и, видно, ничего не понимал. Совсем всё у них было другое. Помню, как мы зачитывались Хэмом, а они его только почитывали. Мне особенно нравились его «Белые слоны». Помню, какой-то бар, столики под зонтиками, кругом савана, тягостное ожидание, он, она, жара, и совсем ни при чем там белые слоны... А еще... Ремарк с его «Тремя товарищами»... и то, что они понимали друг друга с полуслова, с полунамёка. Вообще нравилась в них какая-то неприкаянность. Встречались, бродили по городу, тянулись друг к другу, им было неуютно жить – были неуживчивы на работе, лишними дома... Им хотелось верности, товарищества... Кажется так, или я забыл уже?

Она слушала его, не улыбаясь, вся целиком уйдя в себя.

– Да... верность, не смотря ни на что! Это было самым важным и для нас.

Димыч машинально обнял её.

– Я никогда не забуду, как вы с Андреем приходили ко мне в больницу, там, в деревне... Больница пустая, все в поле, лежишь целый день один, в обед жидкий суп – хоть вешайся, тоска такая... и вдруг вы – с целым пакетом пирожков, с банкой варенья, яблоками...

– Это всё Андрей... как нянька... всё рвался к тебе, а я не пускала.

– Почему?

– Ревновала.

Димыч даже растерялся от неожиданности.

– А зачем ты посадила меня в кабину вместо себя?

– Ты был болен.

– А еще?

– Потому что Андрей сидел в кузове.

– Понятно, а я-то подумал...

– Постой, постой, – заставила она его посмотреть себе в глаза, сделав это так же бесцеремонно как в дни их юности, – ты же не хочешь сказать, что был влюблен в меня?.. Теперь я, кажется, догадываюсь.

Она торжествовала.

– Что?

– Ты сидел у меня ночами, когда он...

– Исчез?

– Бросил, – поправила Лариса, – а я никак не понимала, что тебе нужно: и так и сяк уговариваю идти спать...

– Ты, наверное, забыла всё?

– Нет, помню... да, ты действительно был верным человеком.

Они молчали. Его руки всё крепче сжимали её и ей это нравилось.

– А я так и не перечитывала «Белых слонов» больше, а было бы интересно.

– Страшно, – не согласился он. – Если мне и случается попасть в знакомые места, где я уже давно не был, например, в места детства – пробежишь их быстро... так, краешком глаза зырк-зырк, и всё. Знаешь, как во сне, мелькнет что-то очень знакомое, кольнет в сердце и расплывется под твоим взглядом...

– Теперь понятно, почему ты всё время отводишь глаза.

– Разве?

Он повернулся и взял её за плечи.

– Тебе не страшно?

Голоса стали тихими, натянутыми.

– Я очень изменилась?

– Нет.

– Надо идти, – буднично сказала она, отважно глядя на него.

Оба чувствовали, как исподволь зреет в них давнее, разбуженное влечение, нарастая и электризуясь до такой степени, что кончики пальцев, как антенны в грозу, собрав стекающие к ним заряды, колко пощипывали.

Как бы невзначай, он притянул её к себе.

«Ах, черт возьми, – думал он, – хоть раз в жизни сделать так, как хочется».

Но как только она ощутила на себе его мягкие горячие руки, тело её сжалось и два маленьких кулачка больно уперлись ему в грудь.

«Нет, – читал он в её глазах, – нет».

Она уклонялась, изворачивалась и каким-то чудом ускользала от его поцелуев.

«Нет, – говорили её глаза, – нет».

Это уже была не та Лариса, с которой он пил ликер и вспоминал прошлое. Она будто помолодела, снова став той любопытной и беспомощной девочкой, которую он ждал ночью в поле неподалеку от едва различимого стога, где она отчаянно боролась с собственным чувством,

«Нет, – слышалось ему в её жестком дыхании, – нет».

Лариса вырвалась, встала. Но он поймал её за руку и с силой привлек к себе: будто во сне ощутил он сквозь тонкую измятую ткань ей расплоснутые груди, вяло разъехавшиеся ноги... «Ах, черт возьми, – шептал он, – хоть раз в жизни сделать так, как хочется... хоть раз в жизни.

Вдруг она опустила руки и, глядя ему в глаза, зло спросила:

– И что дальше? – взгляд трезвый, спокойный.

Он видел перед собой усталую, располневшую женщину, искусно подкрашенную, с морщинками у глаз. Она ждала сейчас *чуда*, он понимал это, потому что и ему было бы тяжело уехать теперь ни с чем – с выпотрошенным прошлым и растоптанными воспоминаниями.

– Спать хочу, – вдруг устало зевнула она.

Когда они встали и пошли, Лариса спросила:

– А за что его судили?

Её босые ступни осторожно касались прохладного шершавого асфальта.

– Кого? Ты говоришь об Андрее? Брачный аферист. Обворочит дурочку, оберёт как липку и в бега. Потом на следствии выяснилось, что он был несколько раз женат, имел детей и скрывался.

Улица покатила вниз под гору к белеющей в лунном свете глиняной татарской мечети, которая как невеста красовалась среди темно-прозрачной листвы стройным станом и белой шлемовидной шапочкой.

– А знаешь, в чем я больше всего раскаивалась потом? – спросила она, прощаясь у двери своего номера.

Димыч чувствовал, что она скажет сейчас что-нибудь затаенное и злое.

– В том, что не уступила ему в ту ночь.

Она выглядела такой огорченной, будто случившееся тогда, еще имело для неё какое-то значение.

Лежа в кровати, Димыч долго ворочался не находя себе места. Его что-то беспокоило. Но, так и не разобравшись «что», он вскоре уснул.

И спал он с этим тревожным чувством, и очнулся с ним. А когда открыл глаза, сразу всё понял – её туфли. Тихо встал, оделся, стараясь не разбудить соседей, и вышел из гостиницы.

Погода резко испортилась. Похолодало. Дома и деревья размыло волгой молочной пеленой. Всё, еще вчера по-летнему безмятежное, поникло в осенней гнилой сырости. По гулким резким голосам диспетчеров, утробно заглатываемым пространством, радостно ощущалась близость вокзала. Пахло гарью, будто где-то топили сырыми дровами.

Весь продрогший от холодной росы Димыч с трудом отыскал застрявшие в кустах туфли. Они странно блестели новенькой лакировкой среди пожухлой травы и случайных предметов, точно выброшенные кем-то за ненадобностью, как тряпичная кукла с раздавленной пластмассовой головой.

На востоке, за почернелыми, осевшими в землю домами, стало по-настоящему светло. У пристани ждала пассажиров «Ракета». Над головой с криком тянулась черная стая грачей.

Димыч поднялся к себе за вещами, расплатился за номер – и с чемоданом в одной руке, её туфлями в другой – постучал в 12-ый.

Ему долго не открывали. Наконец он услышал, как пробежали по полу босые ноги, хриплый голос спросил: «Кто?» Щелкнул замок. В приоткрытых дверях стояла Лариса. Лицо опухшее, волосы спутаны, в глазах проглядывало что-то сонное и недоброе. Она выжидающе смотрела на него и, по мере того как сознавала кто перед ней стоит, её лицо разглаживалось, светлело и недобрый блеск в глазах сменялся приветливым.

– Вот, – протянул он туфли, испытывая неловкость, даже смущение, – возвращаю.

Лариса перевела взгляд с него на туфли и снова на него. За какое-то мгновение она снова превратилась в прежнюю Ларису – сонную и недобрую.

– Я и забыла, какой ты услужливый, Димыч. Спать хочу, умираю.

Дверь захлопнулась. Он услышал, как стукнулись об пол брошенные туфли, и заскрипела пружинами кровать.

Светлый салон «Ракеты» даже своеобразным запахом, не говоря о сидениях, напомнил ему салон самолета. Он вдруг совсем успокоился. Книга нераскрытой лежала на коленях, в полудрёме он отрешенно смотрел в окно. «Ракета», стремительно набирая скорость, клевала носом, и перед глазами проплавали голые, опустошенные вчерашней бурей леса. На душе было спокойно: ни воспоминаний, ни сожалений, ни обид, как в могиле. Прошлое больше его не тревожило. Он безучастно смотрел вперед, уже думая о следующем городе в его маршруте, и о том, что, вернувшись, обязательно пойдет с Аней в ЗАГС. «Прощай», – сказал он машинально самому себе и впал в сонное забытие.

1972

Нечаянная старость

Наталье Александровне снился сон, будто она совсем еще девочкой бежит изо всех сил к подворотне, а за нею гонится соседский мальчишка. Ей хочется убежать от него, но спутаны ноги, как у козы. Она падает, ей больно. Наталья Александровна заплакала и проснулась.

Узкие маленькие глазки черными щелками испуганно смотрели перед собой; остренький носик, костистый подбородок отвалился, провалив черным отверстием рот и потревожив тонкую белую куриную кожу под глазами, на скулах и шее. Суставы жгло огнем, крутило, она чувствовала себя побитой, затоптанной лошадьми, будто её тело в нескольких местах переехала телега.

В два больших окна, плотно затянутых зелеными шторами, проникали тонкие лучи, в которых сеялись с невероятной скоростью мельчайшие пылинки.

Комната выглядела огромной. Помимо кровати, в которой лежала Наталья Александровна, в ней еще был стол в простенке между окном и сервантом, табурет, тумбочка в изголовье и платяной шкаф. Раздвижная дверца шкафа не закрывалась, там кишмя кишело тараканами, посещавшими в постели и Наталью Александровну, особенно в холодные дни.

Наталья Александровна пошарила под одеялом и, не найдя грелки, стала ворочаться в поисках её, перекрутив вокруг себя мятую простыню. Грелка давно остыла и валялась у неё в ногах. Наталья Александровна попыталась ногами подтянуть её к себе, но сделала это неловко и грелка с шумом свалилась на пол.

Наталья Александровна вздрогнула и в смнении зажала в кулачках свободный край пододдеяльника. Кожа на руках была такой же зернистой и белой, как и на лице. Напуганная шумом упавшей грелки она долго лежала, сохраняя последние остатки тепла, и слушала, как шуршат в шкафу тараканы. Её правая рука, более подвижная, осторожно ощупывала плечо, грудь, живот, как лёд холодные, надеясь их согреть.

Солнечное пятно на плафоне то разгоралось, то совсем тускнело, и она мучительно соображала, отчего это так происходит. Её сознание затягивала облачная пелена, но она уже не понимала, что означало это видение.

Грелка валялась на полу. Под одеялом было холодно, сковывала дремота, но надо было раскататься и встать.

Наталья Александровна взглянула в сторону серванта, темным пятном осевшим в углу. На нем стоял старый календарь шестьдесят какого-то года с красной мишенью и яркими буквами «Автоэкспорт», прислоненный к хрустальной вазе, которую преподнесли ей ученики в день её выхода на пенсию. Солнечный луч коснулся вазы, брызнув золотистыми искорками. Наталья Александровна вдохновилась, и, наконец, решила встать.

Она поднималась с треском и хрустом, из глаз текли слезы, и вся её утроба стонала от боли. Наталья Александровна села, спустила негнущиеся ноги на пол, с ожесточением спихивая с них одеяло. Нашарила ногой теплые тапки, натянула халат и, охая, заковыляла на кухню.

Шаркая по полу, она медленно приближалась к двери, с трудом распознавая сервант с коллекцией маленьких бутылочек из-под вина, коньяка, ликеров, собранную мужем. «Петенькой», – ласково произнесла она, вместо Якова, как звали её мужа. Но дорогое ей имя никак не отозвалось в душе, никаким воспоминанием – так сильно болели суставы, и так далеко было еще до двери. Вскоре сервант, поблескивая стеклами, остался позади, а перед Натальей Александровной от темной стены внезапно отделился двухстворчатый шкаф. Правая створка, как всегда приоткрытая, позволяла заглянуть внутрь, где висели её платья и костюмы мужа, теперь уже никому не нужные, о которых забыла даже Наталья Александровна, и углядеть в щелях шкафа гнёзда рыжих тараканов. Соседка, при виде их, каждый раз вскрики-

вала и захлопывала дверцу, но та, пискнув, возвращалась в прежнее положение. За шкафом – исчез торшер, потом стул, и перед носом у Натальи Александровны выплыла из ничего белая массивная дверь. Наталья Александровна привычным жестом нажала большую медную ручку и тяжелая дверь, с трудом поддавшись, выпустила её в коридор, пропахший кислой капустой. Здесь надо было идти осторожно, ощупью, перебирая руками по стене, всегда помня о том, что соседская дверь может внезапно распахнуться, и дети, визгливые до головной боли, громко стуча каблуками, могут сбить её с ног.

На этот раз она благополучно миновала коридор и её глаза ощутили волнующую белизну яркого света. Это означало, что Наталья Александровна оказалась на кухне. Слава богу, она доплелась на этот раз без происшествий, и теперь сможет, поставив на огонь чайник, дожидаться горячего чая.

– Куда прешься? – услышала она раздраженный голос матери соседки, такой же старухи, как и она, но еще в силе.

– Здесь были мои спички, – обиженно залепетала Наталья Александровна.

– В одном месте они у тебя были. Не ходи сюда, дай хоть пол вымыть. Сама-то, небось, тряпку в руки не возьмешь.

– Я Кларе плачу.

– Вот и дура моя Клара. Нечего за других грязь размывать... Барыня какая.

Наталья Александровна слышала, как шлепала об пол тряпка, гремело ведро и тепло пахло как в предбаннике вымоченными в кипятке вениками.

От окна дуло в открытую форточку. Наталья Александровна куталась в старенький халатик и жалась к стенке у двери.

Пятясь задом, на неё двигалась туша Клариной матери, которая размашисто елозила тряпкой по кухне.

– На, – бросила она перед Натальей Александровной тряпку, – вытри ноги. Носят тебя черти по квартире. Померла б уже, что ли. А то Клара вон уже третьего ждет, им тесно в одной комнате.

Наталья Александровна тщательно вытерла о тряпку ноги и зашуршала к плите. Зажгла газ, поставила чайник. Всё это стоило ей немалых усилий, она запыхалась. Села на краешек табуретки и стала ждать, когда чайник закипит.

По коридору пробежали дети.

– Сидит, сидит, – услышала Наталья Александровна их шепот.

По-видимому, они подглядывали за нею в щель приоткрытой двери.

Чайник засипел и тихо заныл. Правый бок Натальи Александровны заледенел.

– Деточки, – позвала она их, – идите сюда, не обижайтесь.

За дверью затихли.

– Прикройте форточку, пожалуйста.

Дети с шумом сорвались с места и бросились в комнату.

– Эх вы, окаянные, – в сердцах вскрикнула Наталья Александровна. – Форточку прикрыть трудно. Руки у вас отваливаться. – И закашлялась.

Когда она кашляла, то буквально подпрыгивала на табуретке.

Она собралась с силами, раскачалась, тяжело встала и двинулась к окну. Ветер леденил ей грудь, трепал жидкую прядь седых волос. Свободной рукой, величиною с куриную лапку, она затворила форточку и вернулась к табурету.

Они любили с мужем пить чай еще в постели. Наталья Александровна подумала об этом и заплакала. Она часто теперь плакала, тихонько, без всхлипываний, так что никто и не замечал, что она плачет.

– Наталья Санна, простите маму. Она не со зла, – услышала старушка голос Клары, детский, с хрипотцой.

Наталья Александровна вздрогнула и открыла глаза. Заплавав, она размякла и тут же уснула на табурете. Голос Клары напугал её.

– Я для вас крем купила. Тот, что вы заказывали.

– Крем, – очень оживилась Наталья Александровна и ринулась к Кларе, протягивая за кремом руки. Но ей удалось только сползти с табурета, и она уже задохнулась и прижала скрюченные ручки к груди.

– Спасибо, милая, – отдышавшись, сказала она. – Ты мне и пудру «Рашель» достань. Я очень люблю её. От тебя такой тонкий запах, что это за духи?

– Арабские, хотите, достану?

– Была бы тебе признательна, – благодарила она, приближаясь к Кларе. – Хорошенькая ты, славненькая. Береги красоту. Я всегда тобой люблюсь, когда ты из ванной выходишь. Так и пышешь жаром... как от печки, и так душисто.

Наталья Александровна взяла коробочку с кремом и задержала ладонь Клары в своей руке.

– Ах, какая кожа.

– Я чайник вам отнесу, – осторожно высвободила Клара руку из цепких пальцев старухи.

– Поставь у кровати, я потом возьму.

Клара ушла с чайником, а Наталья Александровна двинулась в обратный путь.

«Ничего, успокаивала она себя, сейчас и я дойду, осталось немного». Она сжимала в руке баночку и часто семенила ногами. У неё закружилась голова. Нога зацепилась за порожек, её толкнуло вперед, полетела из рук баночка с кремом. Она вцепилась в дверной косяк и больно ударилась коленкой. Еще не сообразив, что произошло, она уже искала глазами баночку с кремом. В коридоре было темно, огнем горело колено, стучало сердце. Наталья Александровна опустилась на четвереньки и шарила вокруг себя руками. Силы уходили, удушье сдавливало грудь. Она села на пол и заплакала.

«Только бы осталась цела баночка», – плача, думала она, и ни за что не хотела встать. Но, поплавав, она немного отдохнула. Придерживаясь за дверь, поднялась и осторожно стала искать на полу баночку. К счастью, та откатилась недалеко, прямо к ней под дверь. Она подняла её, чуть не оглохнув от стучащей в затылке крови, и вошла к себе в комнату. Дошаркала до кровати, протерла баночку рукавом халата и поставила её в изголовье на тумбочку. Подняла с пола грелку, вылила из неё воду в цветочный горшок. Заново наполнила грелку горячей водой и сунула под одеяло. И, не снимая халата, забралась в постель, тут же объившую её могильным холодом

Первое время в постели только ногам было горячо. Но, перемещая грелку, Наталья Александровна постепенно согрелась вся – и задремала. Тепло приятно пощипывало тело, дурман заволакивал сознание – и снился ей дом. Родители и жаркий солнечный день. Она удивилась, что снова бродит по своей «детской», потом забыла, не удивляясь больше, и проснулась.

От солнечных пятен рябило в глазах. Грелка жгла ладони и низ живота, и чем горячее там было, тем большее наслаждение это ей доставляло. Глаза закрывались сами собой, в парной духоте одеяла навязывались сны – один приятнее другого – и всё о доме, о родителях. Но иногда ей не спалось, и тогда вспоминался муж, и та жизнь, в которой она уже не была ребенком. Их первая брачная ночь, когда после грубого секса, вдрызг пьяный жених повернулся на бок и захрапел. Она встала, испытывая боль в паху, вся в крови, не зная куда идти, где можно помыться. Их на ночь поселили в рабочем общежитии. Жильцы спали, спросить даже было не у кого. Она нашла туалет. Там оказалась раковина с холодной водой. Кое-как она влезла на раковину и пустила воду. Ледяная струя стекала по ногам на пол, обжигая внутренности её окровавленной вагины. Ни полотенца, ни туалетной бумаги. Она сняла свою комбинацию и вытерлась ею. Возвращаться назад не было сил. Хотелось выскочить поскорее за дверь

и бежать без оглядки на край света. Вот такая она была – её первая брачная ночь. Она и провела её сначала на ступеньках лестницы, а как общежитие открылось, в скверике перед ним.

Наталья Александровна засыпала и просыпалась, радуясь теплу, дремоте, и беспокойным бликам на лепном плафоне. Одна – какое счастье. Господь ей показал их будущую жизнь, так они и прожили её с мужем. Муж скупердяй и жмот. Всю жизнь её мучил, требуя отчет за каждую истраченную копейку. В старости, потеряв силу, сделался её легкой добычей. И если начинал канючить, куда тратится столько денег, она валила его на кровать, зажимала ему нос и силой совала в раскрытый рот мятые деньги, приговаривая: «жри, паразит, подавись ими». А если ночью он пытался ею овладеть, она придавливала его коленями и лупила чем ни попадя по яйцам.

От горячей грелки боль в суставах слабела, и наступало облегчение. Согреваясь, Наталья Александровна выздоравливала, так бы лежала долго-долго, всю оставшуюся жизнь. Но заводился в животе червячок голода, который начинал точить желудок и делался всё прожорливей и невыносимей. И Наталья Александровна должна была выползть из нагретой постели и одеваться, стоя на холодном полу. Натягивать на себя чулки, умываться и идти в кафе. Ела она раз в день в два часа.

Одеваясь, она заметила на тумбочке баночку с кремом. И снова она оживилась, бережно взяла негнушимися пальцами баночку, с трудом отвинтила крышку и поднесла к лицу. Из баночки пахло приятным свежим запахом. Наталья Александровна ковырнула пальцем крем и мазнула им по лицу. Крем щекотно охладил кожу, как будто пахло легким летним ветерком.

Наталья Александровна тщательно втерла крем, припудрилась. Слой пудры и крема остались на лице и на шее в складках кожи. Надела на голову черную широкополую шляпу, старинное перелицованное пальто, и закрыла дверь.

Медленно, от подъезда к подъезду, не замечая окружающих, вся сосредоточенная на дороге, добралась она до кафе и прошаркала мимо очереди в зал. Здесь её хорошо знали, официантка проводила её на свободное место.

Наталья Александровна сидела за столиком в шляпе, крепко вцепившись в узкую черную сумку, из которой выглядывал уголок носового платка. Дожидаясь обеда, она загрузила, неподвижно замерев с закрытыми глазами.

Но это был не приятный сон. Ей даже ничего и не снилось. Глухое забытье сковало её на несколько минут, будто отняло у неё на это время жизнь. Разбудило её звяканье вилок, ложек и ножей, которые общей кучей бросила на стол официантка.

Наталья Александровна задвигалась, что-то невразумительное бормоча. Её разозлило, что официантка так швырнула на скатерть столовые приборы, что она не могла дотянуться до них.

За столиком, кроме Натальи Александровны, терпеливо ждала официантку молодая пара. Наталья Александровна протянула руку к ложке, но, как не изворачивалась, не могла её ухватить. Никто за столом не шевельнулся, чтобы помочь ей, будто она находилась в тяжелом летаргическом сне. Наталья Александровна толкнула в бок юношу. Тот вздрогнул от неожиданности и с немым вопросом посмотрел на неё.

– Ложку и вилку, – сказала она, указывая ему пальцем на груды столовых приборов.

Красное угреватое лицо юноши отвернулось, и в ту же секунду перед Натальей Александровной заблестели вилка, ложка и нож. Она вынула из пластиковой вазочки салфетку и тщательно их протерла, поднося вплотную к глазам.

Рядом с вилок лежало на столе и меню. Это окончательно вывело её из себя. Она задергалась и, указывая на него, брезгливо отмахивалась от меню скрюченными руками.

– Уберите его, уберите, – зло зашипела она, – ну его, вон, вон, – с гадливым чувством отворачивалась она.

Наталью Александровну знобило, она куталась в широкий серый шарф, в котором её можно было видеть всегда, и потирала озябшие руки, как будто стирала с них крем.

Тучная официантка с глазами навывкате, заметив её за своим столиком, пошла красными пятнами. Вытащив из кармана блокнот, она недовольно подошла к столу, будто делала им невесть какое одолжение.

– Слушаю, – грубо поторапливала она.

Наталья Александровна стукнула костяшками пальцев по столу и обиженно спросила:

– А где горбушка? Соберите мне горбушки. Вы что, не знаете?

Официантка молча смотрела на неё, точно взвешивала – тут же её пристукнуть или повременить. Потом всё-таки сунула блокнот в карман и пошла за горбушками.

– Эта, что, новая у них? – спросила она у соседней.

Наталья Александровна была издергана, на взводе. То, что её не понимали, когда так ясно было всё, к чему она привыкла годами, и о чем не могли не знать в этом кафе, куда она ходит уже много лет, казалось ей возмутительным выпадом против неё, Натальи Александровны, чего она, конечно, не потерпит.

Официантка принесла полную тарелку горбушек, которые собрала со всех столов, и поставила перед Натальей Александровной.

– Хлеба не надо. Я просила белые горбушки.

– Ну, теперь замучает, – вполголоса пробормотала официантка, но принесла ей тарелку с белыми горбушками.

Пока официантка брала заказ у остальных, Наталья Александровна нежно ощупывала каждую горбушечку, подолгу наслаждаясь тем, как упруго сжимается в её руках мягкий теплый хлеб. И вспоминалось ей детство, мама, которая очень ругала её за то, что она таскает из буфета горбушки, украдкой съедая их где-нибудь в закутке.

Наталья Александровна помяла их и отложила, так и не притронувшись к ним до конца обеда.

– Мне лапшу молочную, – попросила она официантку, – только горячей она должна быть, я очень больна сегодня. Ритуальную яичницу, 80 гр. сметаны, и в конце принесете какао. Но только, когда я скажу. Без моего знака не несите. Оно должно быть очень горячее.

Ей принесли лапшу. Она поболтала в ней ложкой и, недоумевающая, посмотрела вокруг.

– Это, что такое?

– Лапша, – неуверенно ответила официантка.

– Но в ней ни одной лапшинки не плавает. Я люблю, чтобы много лапши.

– Ну... я не буду менять. Черт знает, что такое! Всем из одного котла наливают, ей всё не угодить.

В глазах у Натальи Александровны блеснули слёзы. Она с трудом сползла со стула и, беспомощно шурясь, неуверенно двинулась по залу.

– Что вы, Наталья Александровна? – спросила у неё администраторша, проходя мимо.

Услышав участливый голос, Наталья Александровна вся потянулась к ней и стала объяснять, что ей дали суп, в котором нет ни одной лапшинки, и уже остывшим.

– Может быть, она новенькая? – участливо спросила Наталья Александровна.

– Да нет, – через паузу ответила ей администраторша, – садитесь, я вам сама заменю его сегодня.

Суп ей заменили. Она сунула в него нос, потом ложку, попробовала, и, убедившись, что он горячий и густой от лапши, удовлетворенно пробормотала себе под нос «спасибо». Она ела суп с яичницей, медленно, смакуя, очень этим занятая, и совершенно успокоилась.

Окно кафе затягивала темно-синяя туча. В её разрывах блестело яркое солнце. Золотистое деревцо на мрачной темно-синей громаде светило, точно зажженное изнутри.

Наталья Александровна не видит этого. Она ощущает на лице теплое солнечное пятно и неспешно допивает горячее какао.

Выйдя на улицу, стягивает слабой рукой у горла воротник пальто и ковыляет к дому. Повсюду чувствуется покойная благопристойность, которая отличает столичный город, ставший провинцией и ушедший в самого себя, в свою сложную, издавна сложившуюся, богатую традициями жизнь.

Наталья Александровна жметя к домам и, словно слепая, осторожно постукивает перед собой изящной тростью. При этом лицо её страдальчески кривится от боли в суставах. Она с тревогой поглядывает на небо, придерживая черную широкополую шляпу. С усилением предгрозовой тьмы настроение у неё падает.

Гроза надвигалась стремительно. Насыщенный испарениями влажный воздух всей своей тяжестью заполнял легкие и только с усилием вытолкнутый наружу – приносил облегчение.

Наталья Александровна задыхается и начинает кашлять. Что-то сипит у неё в груди, клочечет, как закипающий чайник. Её лицо бледнеет от страха и быстрой ходьбы. С детства она до ужаса боялась грозы.

Перед глазами медленно проплывают полуподвальные окна, наполовину уходящие в глубокие ямы, в которые ветер сметает клочки бумаги или сухой желтый лист, а ей кажется, что она мчится так, что ветер свистит в ушах.

Она помнит, как они с девочками сидели в такой же грозовой день в беседке на берегу реки. Помнит, как звала её мама, и Наталья Александровна, выбежав из беседки, мчалась к ней под дождем. Как ударил гром, и как кричала её мать, обнимая свою девочку, чудом оставшуюся в живых.

– Мамочка, – машинально шепчет Наталья Александровна, и уже бежит, почти не касаясь тростью земли.

Ветер переменялся. Вдоль забора забились с нарастающим шумом кусты сирени. Закудахтали где-то куры, и вихрем понеслась по дороге сухая пыль.

Наталья Александровна чувствует, что теряет сознание. Больше бежать она не в силах, даже если в неё сейчас ударит молния. Её прибивает ветром к детской площадке, где она укрывается под крышей беседки. Вся дрожа, усаживается она на некрашеную скамейку и в изнеможении закрывает глаза. Темные круги сжимают голову, которая кажется ей пустой и хрупкой – и шепчутся в этой пустоте легкие серые облачка – от них шумит в ушах и резкой болью отдается в висках, когда они задевают краешком стенки черепа.

Просыпается Наталья Александровна от шума дождя. Грохот грозы уже не такой страшный и доносится к ней откуда-то издалека. Беседку наполняют настоявшиеся на зелени и цветах упоительные запахи, от которых кружится голова и молодеет тело. И этот дождь, и свежий грозовой воздух, и полумрак, поглотивший скверик – впадают в неё острой тоской. А за беседкой призывно шелестит дождь и в проёме видно, как белеет низкое небо.

Наталья Александровна подняла воротник пальто и встала.

На открытом месте действительно светлее. Она медленно бредет вдоль домов по своей улице и теплый дождь струйками стекает за воротник. Отсюда, из светлого огромного пространства, раскрывшегося над нею, из прохладной массы свежего, насыщенного озоном воздуха, её комната показалась маленькой, темной, затхлой – и мучительно захотелось жить.

– Жить – шевелит она губами, – жить, – не устаёт она повторять всю дорогу и плачет.

Вернувшись из кафе, она еще некоторое время сидит в комнате, не раздеваясь, и следит, как сгущаются за окном сумерки.

Когда отливающая глянец синева окна зажглась разноцветными огнями, она раздевается. Греет воду, заливает грелку, готовит себе чай, зажигает у кровати настольную лампу и ложится пить чай в постель. Напившись, она забирается под одеяло, накрывшись с головой, стараясь укрыться от боли и от старости. Как когда-то в детстве, возвращаясь от бабушки с пас-

хальным куличом, они с сестрой прятались от Бога. «Давай, Тала, откусим кусочек?» – слышит она голосок сестренки. – «Нельзя, – испуганно прижимает она к себе кулич. – Боженька увидит». – «А мы платочком накроемся, он и не увидит», – хитрит сестричка. Так они и сделали, и Боженька не увидел, и не наказал. Но увидела мать и больно отшлепала обеих за испорченный кулич.

Наталья Александровна задыхается и сбрасывает с себя одеяло. Она лежит, хватаясь за сердце, и судорожно зевает, хватая ртом воздух. Короткая мятая сорочка едва прикрывает её худые ноги, сплошь покрытые желтыми, коричневыми, а кое-где бурыми пятнами и кровоподтеками от лопнувших сосудов.

– Ах, ножки, мои ножки, – со вздохом выговаривает Наталья Александровна и касается их дрожащими пальцами.

Она еще не забыла, как заглядывались на них мужчины, и покачала головой – кому они теперь были нужны, даже ей они стали в тягость. «Петенька» – как-то светло произнесла она имя, которое таила даже от самой себя всю свою жизнь с мужем.

Однажды она увидела его, незнакомого парня, приехав в отпуск к матери. Он присматривался к ней издали, и отводил глаза, когда она ловила этот взгляд. Было это на танцах в глухой деревне, где она гостила с детьми, надеясь подлечить их парным молоком. Парень оказался моложе лет на десять. Он приглашал её на все танцы. Они не заметили, как пришли к её дому, но расставаться не хотелось. Они забралась на сеновал, всё о чем-то разговаривая. И вдруг она вцепилась в него, теряя сознание: «хочу, хочу тебя» – причитала она, раздвигая ноги, и взобралась к нему на колени. Он растерялся, неопытный студент, стал снимать с неё кофточку, но она, не дожидаясь, уже двигала взад и вперед у него на коленях набухшей вагиной, издавая откровенно блаженные стоны нечеловеческого счастья. Никогда больше она не видела его, но через знакомых из той деревни узнавала, где он, и как живет. Что женился, родил троих детей, счастлив. Как? счастлив? – без неё, как это могло быть? Со смертью подружки она потеряла эту связь с ним. И до сего дня не знает – жив ли он, и чем его жизнь закончилась. А вдруг и он вспоминал её, думал о ней?..

– Что это у меня сегодня с утра глаза на мокром месте? – обругала она себя, и залезла под одеяло.

Наталья Александровна долго смотрит на жужжащий в лампочке волосок накаливания, ощущая его яростный нездешний свет. И вся её жизнь до смерти родителей разом вспоминается ей. Всё, что случилось после их смерти, она окончательно забыла, никогда не спрашивая себя – почему это так?

– Мамочка, – шепчет она и улыбается, – еще всё, всё впереди...

Потом она гасит лампу и слышит, как встает у постели и склоняется над нею сон. Она зажмуривает глаза и замирает от страха, ждет, когда он примется за неё. Её сон теперь, как медведь, наваливается на неё всем своим огромным темным мохнатым телом и душит её, давит ей лапами грудь и заглатывает своей огромной раскрытой пастью её маленькую лысеющую головку. Испуганное сознание выглядывает из-под навалившейся тяжести, проклиная неподвижно окаменевшее тело, которому нет дела до её страхов и боли, словно оно уже не принадлежит ей больше, и она чувствует себя вколоченной в него, как в собственный гроб.

Наталья Александровна изо всех сил пытается пошевелить рукой, и если ей это удастся, зажигает лампу и успокаивается. Но как только свет гаснет, на неё опять наваливается, караулящий у постели, сон – и снова давит, жмёт, душит её. Она хрипит, стонет, тяжело дыша, и, по возможности, ворочается всю ночь с боку на бок. А утром, проснувшись, радостно думает: слава богу, проснулась.

Ей часто снится дом. Солнечный двор, её подружки, ей тепло и радостно от их лиц, знакомых голосов. И мама, смотрит на неё из окна, и знакомым жестом машет ей рукой.

Наталья Александровна оборачивается, вздрагивает, ищет её глазами.

– Бегу, – кричит она, заметив родное лицо мамы, и бежит...

1977

Желтые дожди

Сивергин открыл изнутри дверцу кабинки, расстегнул плащ, пиджак, ворот сорочки – он взмок и задышался.

– Кира, я с ума схожу, – кричал он в трубку, оттягивая прилипшую к телу сорочку, – звоню по три раза на день – тебя нет. Была больна? Плохо слышу. Лучше тебе? Ничего, я ничего, здоров. Еще месяц. Это если всё пойдет хорошо. Приезжай. Очень тоскливо. Красиво? Нет. Я говорю: то-скли-во. Красиво, наверное, было в Паланге. Как ты отдохнула? Минутку, девушка... Ну, я жду. Приедешь?

Кира всё отшучивалась, советовала не нервничать, не принимать так близко к сердцу: «командировка есть командировка» – и обещала приехать.

Вывалившись из жаркой кабинки, Сивергин с трудом задвинул на место неуклюжую дверцу слоноподобной кабины и подошел к окошку телефонистки.

– С вас сорок рублей.

Превозмогая внезапный приступ головокружения, он сунул в окошко деньги и прислонился лбом к дощатой стене.

– Гражданин, вам нехорошо?

– Что вы, хорошо... даже очень.

Пропитанный разогретым сургучом угарный воздух райпочты вызывал легкое удушье, но Сивергин улыбался.

– Жена приезжает.

– Поздравляю, – сочувственно кивнула ему телефонистка.

– Сосед, знаете, замучил. Каждый вечер напьется до потери сознания, а потом храпит всю ночь, не добудисься. И храпит как-то дико, по-звериному. Теперь надо просить, чтобы его переселили.

– Раз жена приедет – переселят, – убежденно сказала она.

В сенях почты он налетел в полутьме на компанию девочек, лет четырнадцати. В нос ударил резкий запах дешевых духов. Сивергин, обернувшись, строго посмотрел на них и покачал головой.

– Топай, дядя, топай, – услышал он у себя за спиной.

Дверь захлопнулась, вытолкнув его на улицу.

– Вертихвостки, – беззлобно обругал он их, шурясь от дневного света, в глазах по-прежнему ощущалось болезненное мерцание, и подумал: «А ведь надо же – когда-то ночами не спал, мучился, переживал... вот из-за таких нахалок. Нет, хорошо, что ему сейчас сорок один, а не четырнадцать, что он, слава богу, женат. Будь ему сейчас четырнадцать – он либо сошел бы с ума, либо утопился».

Сивергин судорожно втянул в себя отдающий ржавчиной сырой воздух и спустился с деревянного крылечка райпочты.

Последние дни он был действительно близок к помешательству. На заводе кричал, суетился, с трудом выбивая то, что в спокойной обстановке сделалось бы само собой без всякого нажима. А по ночам, разбуженный соседским храпом, в бешенстве вскакивал с постели и, накинув пальто, спускался в вестибюль. Там он сидел в кресле до утра с желтыми от бессонницы глазами.

«Нет, жена – это вещь», – решительно заявил он, шагая по желтой, размокшей до жидкого месива глинистой дороге. Водяной пылью сеялся дождь. Плащ и шляпа Сивергина быстро намокали, впитывая дождевую влагу.

«Эх, теперь бы солнышку пригреть... и можно было бы жить».

В гостинице он разыскал администратора.

– Да, поймите, вы, наконец, ко мне жена едет. Неужели вам это неясно? Ведь вы женщина, – вдруг вырвалось у него как самый убедительный довод.

Администраторша зарделась, что-то недовольно бурча себе под нос, но соседа обещала переселить.

На следующий день Сивергина вызвали на завод испытывать новую аппаратуру. Он надолго там застрял, так и не встретив жену. Хорошо, что гостинца в городе была одна, и Кира без труда нашла её.

II

Поздно вечером Сивергин, проклиная всё на свете, влетел к себе в номер. Кира уже спала. Он зажег на столе лампу под розовым абажуром. В номере было чисто убрано. Исчезли с батареи грязные носки, со стола засохшие краюхи хлеба, даже вода в графине была свежей, а не желтой как обычно. На тщательно вытертом столе в белых кружочках от горячих стаканов стояла ваза с цветами. В комнате было проветрено, легко дышалось. Разметавшиеся на подушке волосы, полуоткрытый рот, по-детски заломленная за спину рука – все было знакомо, все было родное, любимое. Кира выглядела помолодевшей. Это сразу бросилось в глаза.

Она похудела и даже загорела немного. От её лица шел тонкий свежий запах женьшеневого крема, баночка из-под которого стояла тут же на стуле.

– Ну, спи, спи, – вздохнул он в надежде, что она услышит и откроет глаза.

Пока пил чай, он нарочито громко помешивал в стакане ложечкой, двигал стул, шуршал чертежами. Кира не только не проснулась, даже не шелохнулась во сне. «Ну что ж, – строго сказал он себе, – ей нужно отдохнуть. Дорога сюда утомительная и с этим надо считаться».

Всю ночь Сивергин провел в напряженном ожидании, когда же Кира проснется. На рассвете его разморило и он, помимо воли, уснул. Утром, когда по привычке он соображал, приоткрыв глаза, который теперь час, его сознание просигнализировало ему, что со вчерашнего дня в его жизни что-то изменилось. Пока он осознавал – *что*, его взгляд обнаружил спящую в кровати напротив Киру.

Несколько минут – и он уже был на ногах. Одеваясь, Сивергин снова двигал стульями, хлопал дверцей шкафа, шумно плескался под краном – и уже совсем смирился, что так и уйдет на работу, не дождавшись, когда проснется жена.

– Андрей, можно тише, я так устала, – сквозь дремоту, не раскрывая глаз, вдруг пробормотала Кира.

Сивергин присел на кровать, но жена капризно заурчала и отвернулась к стене, подставив ему для поцелуя затылок.

– Кира, – шептал он, наклоняясь к ней и щекоча своим дыханием. – Кира, я так ждал, я не верю... Ты здесь, усталая моя, любимая, Кира, дай же мне тебя поцеловать...

Она недовольно ворочалась, не в силах стряхнуть с себя сон, потом выпростала из-под одеяла руки, пахнув ему в лицо женским теплом, взяла его за плечи. Он тут же полез целоваться, сжимая в объятиях её худенькое тело. Кира отвечала вяло, но была так свежа и податлива, что у него закружилась голова.

– Какой ужас, Кирюша, мне надо бежать!

– Так беги, – нежась в постели, шепнула она ему на ухо.

Сивергин с мольбой посмотрел на неё.

– Может, не ходить?

– Нельзя, – сочувственно погладила она и поцеловала в лоб. – Надоело тебе здесь?

– Дó смерти.

– Беденький.

Кира приподнялась на локоть и глянула в окно.

– Вчера у нас тоже весь день шел дождь. И в Паланге погода не баловала.

– Кстати, как ты отдохнула?

– Хорошо, – довольно шурясь, ответила она. – На этот раз хорошо. Я даже не успела соскучиться. Ты же знаешь, как я не люблю дома отдыха.

– Почему? – простодушно спросил Сивергин.

– Что? Почему не люблю дома отдыха?

– Нет, не успела соскучиться.

– Компания подобралась подходящая, – будто на что-то намекая, улыбнулась она.

Сивергин видел, как в её темных блестящих глазах одинаково двигались два маленьких блондина со вздыбленной веером шевелюрой, и рассеянно слушал её.

– Там, в Паланге, – продолжала она рассказывать, – большинство отдыхают семьями. И ты знаешь, я была одна, и как-то взглянула на это со стороны. Тяжело было на них смотреть. Индивидуум – всё-таки осмысленней, правда? Вот даже собака... бежит одна – и в ней есть что-то симпатичное. А семья... какое-то круглое заколдованное слово. Есть в нем какая-то безысходность, ты не находишь?

– Ты, конечно, не имеешь нас в виду? – шутливо заметил он.

– А чем мы хуже других? – так же шутливо ответила она.

Кира, изогнувшись, блаженно потянулась. Дразнясь, она чмокнула Андрея в щёку. Он прижал её руку, потом другую – она изворачивалась, уклоняясь от поцелуев.

– Андрей, опоздаешь.

– Ну и пусть, – сдавленно выговорил он.

Она улыбалась, легонько отталкивая его.

– Уходи же, уходи, – просила она вялым голосом. – Тебе надо бежать.

– Я так рад, что ты приехала. Ждал тебя вечность, – шептал он, вдыхая острую приторность её ночного крема. – А хочешь, я никуда не пойду?

Она отрицательно покачала головой и, вытянув губки, чмокнула в воздух.

– Если бы не дозвонился, всё бросил бы и приехал домой.

– Ты представляешь, в последний день я заболела. Подскочила температура, слабость, головокружение. Я была вынуждена задержаться в доме отдыха еще на пять дней.

– Я здесь с ума схожу – не пойму, что происходит. Звоню домой, звоню маме – тебя нет.

– Если бы ты знал, как я измучилась. Конечно, мне было бы лучше съездить к маме, там бы я отдохнула и подлечилась.

– Я тебя здесь в два счета вылечу.

– Знаю я твоё лечение, – усмехнулась Кира. – Как подумаю, что скоро опять школа, дети, шум, гам – к горлу подкатывает... Ну, пусть.

Она решительно высвободилась из его рук, и пожаловалась:

– Правда, я очень устала.

– Ничего, здесь ты отдохнешь.

– Мне хотя бы отоспаться. Я ведь ненадолго, Андрюша.

– Как? – удивился он.

– Дня на три.

– Три дня? Ладно, поговорим потом. Мне, к сожалению, пора. Закройся и никого не впускай.

– Никого? А если это будет... горничная?

Он неодобрительно покачал головой.

– Ты знаешь, о чем я.

Оставшись одна, Кира прошла по комнате, грустно глядя на убогую мебель, и отодвинула штору.

За окном лил дождь. По улице, прижимаясь к деревянным домишкам, быстро-быстро перебирая ногами, спешил мужчина невысокого роста в плаще и в шляпе. Он оглядывался

на гостиницу и махал ей рукой. Вскоре скрылся там, где издожившееся небо обмякшим серым пологом низко нависло над темными крышами города.

III

И в *этот* день, как ни торопился Сивергин в гостиницу, вернулся он поздно.

Кира уже спала. У кровати на полу лежала брошенная книга, топорщась раскрытыми страницами, и стояла баночка с кремом.

Она, по-видимому, долго ждала его, но, так и не дождавшись, уснула.

Сивергин убрал книгу, вскипятил чай. Не торопясь выпил его. Разделся и лег к ней в постель. Он понимал, один – он ни за что не уснет сегодня.

Кира потеснилась, дав ему место, и снова затихла.

Он долго лежал так, любуясь ею, в ожидании, когда она проснется. Губы у неё были чуть приоткрыты, в уголках рта появились едва заметные морщинки.

Андрей поцеловал её в закрытые глаза. Кира не проснулась. Тогда он взял её руку, несколько раз нежно провел по ней, дотронулся до её шеи, груди. Он думал, что она почувствует его и сейчас же проснется, но Кира спала. «Что же это такое?» – недоумевал он и всем телом приник к ней. Она глубоко вздохнула, вытянулась, раскинув ноги – ему показалось, что она просыпается: вздрогнули ресницы, чаще задышала грудь. Андрея бросило в жар. Он чувствовал у себя в руках легкий шелк её ночной сорочки, прохладной тканью скользивший между пальцев, и благодарно шептал: «Кира, Кира». Он не узнавал её, будто и не прожили они вместе долгие десять лет. Вдруг она громко застонала, вцепившись в него руками, и он почувствовал, как впились в кожу острые ногти, а губы искривила сладчайшая мучка. Она утробно стонала, не открывая глаз, как во сне, и ему стало жутко.

– Кира, – громко позвал он её, – Кира, что с тобой?

Он легонько тряс её за плечи и звал: «Кира, Кира». Постепенно дыхание её выровнялось, губы перестали дергаться, тело обмякло. Она спала.

Сивергин растерянно смотрел на неё, ничего не понимая. Всю ночь он с тревогой прислушивался к её дыханию, пробуждаясь при малейшем признаке беспокойства с её стороны, но она безмятежно проспала до утра. А когда он уходил на работу, с трудом приоткрыла тяжелые веки и, почти не двигая губами, промычала: «Я, Андрюша, еще посплю немного, ладно?» И тут же уснула.

IV

В четвертом часу следующего дня Сивергин вошел в номер, держа в руках целую охапку разных пакетов – с яблоками, булочками, сладостями, сыром, сметаной, колбасой.

Кира сидела в постели с вязанием в руках и о чем-то беседовала с горничной, протиравшей у них в номере стекла, стены и даже трубы отопительной батареи.

– Смотри, Кира, что я принес.

Он стоял на пороге в желтых от грязи ботинках и улыбался. Кира сползла с кровати, набросила халат и, заглядывая в разложенные на столе пакеты, одобрительно кивала.

– А это специально для тебя.

И он высыпал на стол десяток желтых крупных картофелин.

– Иду я из магазина, – возбужденно рассказывал Сивергин, – вижу за забором, у дома против гостиницы, копается в огороде какой-то мужичок. Как я увидел у него в руках крупную желтую картошку, так слюнки и потекли. «Эй, – говорю ему, – продайте немного картошки». Он долго смотрел на меня как на дурака, честное слово. «На продажу, – говорит, – не имеем». – «Да мне немного, жену угостить. Мы тут в гостинице живем». Он снял кепку, набросал туда картошек покрупнее и отдал мне: «На продажу, – говорит, – не имеем. А так, значит, можно».

Радуюсь удаче, Сивергин нервно подергивал лицом и потирал от удовольствия руки.

- Этого оставить так нельзя, – шутливо подмигнула горничной Кира.
- Правильно, – подхватил Сивергин, – устроим что-нибудь необыкновенное. Чего бы тебе, Кирюша, хотелось?
- А есть в этом городе баня?
- Есть, – сказала горничная, – сегодня как раз банный день.
- Ура! Значит, первым делом мы идем в баню. Нет, нет, нет. Никаких возражений, – решительно заявила Кира, – хоть отогреемся немного. Тося, вы пойдете с нами?
- Что вы, – испугалась горничная, – я только вчера мылась.
- Но отпраздновать с нами очищение от всех грехов не откажитесь?
- Что вы, нам нельзя, мы на работе.
- Но после работы.
- Нет, нет, строго наказано, ни в коей мере.
- А мы закроемся, никто ничего не узнает.
- Нет, нет, – растерянно бормотала горничная.
- А мне так хочется, – канючила Кира.

Сивергин с обожанием смотрел на неё. Он понимал, как же ей хочется затащить с собой в баню горничную, и тоже попытался её уговорить. Но та не поддавалась. Её маленькое остренькое личико с жиденькими, коротко подстриженными волосами застыло в неподдельном изумлении – и она затвержено повторяла им: «нет, нет».

– Ладно, отпусти ее, Андрей, – смилостивилась Кира. – Тосю ждут дома.

– С легким паром, – пожелала ей Тося.

– Это замечательная женщина, – весело щебетала Кира, собираясь в баню. – Ты знаешь, мы с ней очень подружились. Она на днях выдает свою дочку замуж, но ничего толком про это не знает, и я её консультирую. «У нас, – говорит, – свадеб не было. Записали меня в ЗАГСе, и мой ушел в армию. Не дождалась его, сгинул где-то». И живут они с дочкой одни... ужасно. Я её спрашиваю, что это вы каждое утро стекла моете, не тяжело? А она: «Нет, чтобы на такой красоте пыль лежала». Я тоже, как и ты, не сразу поняла, о чем она говорит. А для неё этот номер – как царская палата. Говорит: «Убираюсь тут и не налюбуюсь, как будто у себя дома порядок навожу».

Пока она все это рассказывала, Сивергин помогал ей одеваться – застегивал крючки, искал свитер, косынку, засовывал в сумку её белье. «Люблю тебя, люблю», – говорил он каждым своим движением, радуясь, что может ей чем-то угодить.

V

Вечером, разморенные после бани, они устало ввалились в полутемную комнату. В щели неплотно задвинутой шторы серело запотевшее стекло.

– Бррр, проклятый дождь, – невольно содрогнулась Кира, сбросив ему на руки косынку, плащ, и, засучив рукава, принялась за хозяйство.

Полчаса спустя они уже сидели за столом в розовом свете настольной лампы, пили вишневого цвета чай с яблоками.

– А знаешь, как называется такой чай? – спросила она, – чай «по-поповски».

Кира с ногами забралась в кресло, кутаясь в большой белый платок, а Сивергин, откинувшись на спинку стула, уперся затылком в стену, потягивая горячий чай. Они слушали радиоспектакль «Крейцерова соната» и, встречаясь глазами, улыбались.

Кира еще больше похорошела за эти дни. Было видно, что она отоспалась, глаза посветлели, кожа стала розовой, волосы утратили сухой соломенный цвет.

– Кира, какие у тебя губы, – вдруг восхищенно сказал он, подслеповато щуря ясные голубые глаза.

Она потянулась рукой к стулу, там рядом с баночкой крема лежало квадратное зеркальце, внимательно оглядела себя.

– Губы как губы.

Кира несколько раз поджала их, прикусив изнутри зубами, а затем, выпятив и приоткрыв, облизала кончиком языка сначала верхнюю губу, потом нижнюю, и отложила зеркало.

– Какой противный тип этот Позднышев, – вздохнула она, – и зачем только терпят их женщины. Она зевнула и потянулась.

– А я всё ещё хочу спать.

– Ты как будто целую неделю не спала.

– Да, не спала, – обиделась Кира. – Я еще не оправилась после болезни. Сон для меня – лучшее лекарство.

– Вчера я даже испугался, так ты разоспалась, – осторожно заметил Сивергин.

– Я выпила три таблетки снотворного. Мне было жутко одной, вот я глотнула их и легла.

– Ты с ума сошла. Так можно отравиться.

– Нет, я меру знаю.

– И ты совсем не слышала, как я пришел?

– Нет. Это было поздно?

Андрей кивнул. Не отрывая от стакана губ, он тянул в себя горячую и душистую жидкость, а Кира слушала радио, уставясь в Андрея невидящими глазами.

Кресло было неглубокое – её ногам, поджатым под себя, было в нем тесно. И стояло кресло боком к столу, так что Кире, чтобы взять или поставить на стол стакан, приходилось каждый раз в нем выворачиваться всем телом.

– Давай я разверну тебя к столу.

– Да оставь ты меня, бога ради, – возмутилась она, – дай послушать.

«С первой минуты как он встретился глазами с моей женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» и ответил: «О да, очень».

– Кира, – робко позвал он, – ты прости, что я разбудил тебя вчера, когда пришел. Скажи, ты не сердишься?

– Не сержусь, – машинально ответила она.

– Значит, ты не спала?

Она медленно подняла голову и спросила:

– Что значит, не спала?

– Я разбудил тебя, – повторил Сивергин, не отпуская её взглядом.

– Я же сказала, что не сержусь.

Он допил чай, причмокнул.

– Вкусно. Где это ты выучилась?

Кира кивнула, что слышит, улыбаясь сама себе – сокровенно и радостно.

– Добрые люди научили. В доме отдыха, – добавила она уже безразличным голосом.

«А она действительно очень помолодела», – еще раз отметил он для себя. И никак не мог отделаться от впечатления, что видит её как бы впервые, будто они только вчера познакомились. Он мечтательно отстранился от всех привычных чувств и забот, их связывавших в течение десяти лет, и старался смотреть на неё чужими, как бы случайными глазами. И то, что он видел, ему очень нравилось.

– Кира, – невольно окликал он её и, смущенно улыбаясь, ничего не мог ей сказать.

В продолжение вечера, пока они слушали радиоспектакль, он смотрел на неё, не отрываясь, и всё представлял, что вот так – сидит он себе один, сидит, и вдруг видит: рядом с ним в кресле пьёт чай Кира. Разве это не чудо?

VI

Когда передача закончилась, Кира, словно очнувшись, сказала:

– Фу, какая гадость. Нельзя копаться в любви как в помойном ведре. Налей мне немного теплой воды.

– Кирюша, что ты собираешься делать?

– Хочу выпить таблетку. Бессонница, понимаешь?

– Нет. Кира, я тебе не позволю.

Он вытащил её из кресла, маленькую, почти девочку и, не отпуская, удерживал на руках. Она не сопротивлялась.

– Позволь, я только умоюсь, – вздохнула она. – Скажи, а горячая вода у вас бывает?

– Нет.

– А зачем же тогда в номере ванна?

– Это типовой проект. Здесь они считаются «люксами».

Андрей перестелил постель. Он ходил за Кирой как за тяжелобольной, готовый исполнить любое её желание, какую угодно прихоть, только бы не дать ей выпить эти треклятые таблетки.

– Только быстро и сразу спать. Я устала, мне всё еще нездоровится.

Кира легла в постель, шумно зевая в ожидании Андрея.

– Кира, – укоризненно покачал он головой, но заторопился и полез под одеяло.

Потом она сразу же отвернулась к стене.

– Опять дождь, когда он у вас кончится.

– Почему у вас? – не понял Андрей.

– Я хотела сказать: здесь, – поправилась Кира и, пожелав ему спокойной ночи, затихла.

А Сивергин лежал с открытыми глазами и думал об их жизни. Их отношения никогда не были страстными, но их ровность и длительность была им надежной защитой. Он привык видеть её в хлопотах, среди домашних забот, благодарной ему за привязанность к её мальчику, которого он усыновил, женившись на Кире, и не представлял себе другой жизни. И вдруг вчера ночью он с ужасом обнаружил, что, может быть, настоящей близости между ними никогда и не было. «Ерунда, – убеждал он себя, – ты просто переутомился, а она нервничает из-за сына, вот и всё, и вся разгадка». Её мальчик вырос, уехал учиться в Москву, ей одиноко без него, как ему здесь одиноко без Киры. Нервы, всё нервы. Вот и всё, и ничего другого. Но раньше, как было раньше? Кто у неё был до него? Никогда она не рассказывала ему о той жизни. Мальчик называл Андрея папой. А тот, настоящий отец, вычеркнут Кирой из памяти раз и навсегда. Нет, всё хорошо. И всё же временами, глядя на неё, он сознавал, что, к несчастью, был у неё не первым, и каждый раз заново переживал это.

Сивергин тяжело вздохнул, заложил за голову руки. «Спать, лучше спать».

Но прошло много времени, прежде чем он почувствовал, что не спит, не может уснуть. Он прислушался к дыханию Киры, и вдруг ему захотелось повторить то, что было между ними вчера. Он вздрогнул – так заколотилось в груди сердце. Он боялся сознаться себе, что нарочно ждал всё это время, когда Кира уснет. «Если она спала тогда, она и сейчас не проснется», – подумал он и осторожно дотронулся до её плеча.

Кира открыла глаза и недобро спросила:

– Тебе что нужно?

Сивергин обмер, притворившись, что случайно задел её во сне. Она села в постели, растрепанная и опухшая, тряхнула головой, будто старалась от чего-то отмахнуться.

Дай мне стакан воды и возьми у меня в сумке таблетки.

Он послушно сделал всё, что она просила, и снова лег.

– Не могу я здесь спать, – недовольно сказала Кира.

– А что тебе мешает?

– Город мне не нравится. Жёлтый, грязный, пять улочек, и дождь льет сутками.
– Я тебя не понимаю, – заволновался Сивергин, – причем тут город. Ты же ко мне приехала.

– И эта гостиница... Свихнуться тут можно.

– Дождь... Не может он лить вечно, – утешал её Сивергин.

– А я вечно здесь сидеть не собираюсь.

– Подожди недельки две – вместе и уедем.

– Что?! – подскочила Кира. – Две недели? Сегодня у нас что?

– Пятница.

– Так вот, в субботу и уеду.

– Так это ведь завтра.

– Да? Прекрасно, завтра и поеду. Это очень удобно. Утром в воскресенье я буду в Питере.

– Где? – он тупо уставился на неё.

– Ах, я забыла тебе оказать, меня пригласили в Питер. Подружка. Мы в доме отдыха познакомилась. Если не съезжу сейчас, не выберусь никогда.

– Кира, милая, подожди. Надо всё обдумать. Нельзя же так.

– А что тут обдумывать – надо ехать.

– Ну, подожди еще хоть недельку, – умолял он, – зачем так спешить. Будем ходить в кино, за грибами... Что с тобой, Кира? Она молча сидела, не поднимая головы. А потом вдруг оттолкнула его локтем и такое начала говорить: что она замучилась тут, и мама её ждет, что он нарочно её заперти держит, и так, можно сказать, всю жизнь ей поломал. Сивергин только хлопал глазами и, заикаясь, обиженно спрашивал: «Как я твою жизнь поломал, как?» Но Кира хваталась за грудь и кричала, точно в истерике.

Обиженный, раздосадованный, Сивергин успокаивал её, а сам думал: либо она и в самом деле серьезно больна, либо он бездушный, черствый человек. В кои веки у неё есть шанс побывать в Питере, а он держит её здесь ради своей прихоти.

– Хорошо, – упавшим голосом сказал он, – мы завтра это обсудим.

Кира выпила снотворное и потянулась через спинку кровати к подоконнику, чтобы поставить стакан.

– Ты зря пьешь таблетки.

– Зато спится от них хорошо.

За окном скрипел фонарь и мелко шуршал дождь.

Это был методичный, нескончаемый дождь, а город казался Андрею тесной душевой, в любом уголке которой, тебя буравили холодные острые струи. Днем дождь шел незаметно – ощущаясь лишь в том, как набухал влагою плащ или слетала с полей шляпы капля, как раскисали до жидкой грязи глиняные дорожки, как с гулким нутряным звуком сквозь чугунные решетки падали в редкие водосливы мутные потоки. Они затопляли проезжие дороги, образовываясь неизвестно из чего, будто выдавливаемые из земли тяжелой колонной самосвалов. К вечеру, когда жизнь города замирала, в привычные уличные звуки уже вплетался и шум дождя. С наступлением темноты он усиливался, перекрывая собой все остальные шумы, и вот уже сам расслаивался, делился: на хлопанье в лужах, шуршанье в листве, drobный стук по металлическому козырьку над входом в гостиницу, журчанье из водосточных труб и вкрадчивый шорох по крышам и мостовой.

Сивергин приподнялся в постели и с надеждой посмотрел в окно.

– Нет, – в сердцах сказал он и откинулся на подушку, – нет. Будет назло мне лить весь месяц.

И надо же было, чтобы к ее приезду испортилась погода. А если бы это не она, а он к ней приехал? Разве ему было бы не всё равно – идет дождь или выпал снег? Она ведь к *нему*

приехала. Но его всё равно нет в городе целыми днями, что же ей прикажешь – киснуть под дождем? И всё-таки, зачем она приехала? Зачем?

Сквозняк слабо шевелил шторы, темные узоры копошились на полу и стенах как кучи муравьев.

«Пусть едет, – решил он, наконец. – А то, действительно, превращаешься с годами в ворчливого старика. Пусть едет», – смирился он, чем окончательно отравил себе завтрашний день. Теперь он только и будет думать: вот пройдет эта ночь, а завтра уже надо беспокоиться о билете, укладывать вещи...

«Страшно», – подумал он, и прислушался. Кира спала.

VII

На следующее утро Кира открыла глаза и радостно сказала:

– Как хорошо, я сегодня уезжаю.

Занавески на окне тепло желтели. Яркий луч золотил верх стёкол, пересекал по диагонали створ окна, не доставая до подоконника, белеющего в холодной тени.

При виде солнца, что-то радостно ёкнуло у Андрея в душе, но тут же болезненно зануло. «Она сегодня уезжает».

Андрей осторожно приник к ней, шалея от её жаркого сонного тела, и в это время в дверь громко постучали.

– Кто это?

– Горничная, – хохотала Кира.

– Кира, проснулись? Это я, убираться пришла.

– Рано. Тосенька. Сегодня суббота, я еще сплю.

– Ну, я найду попозже, – пообещал она и, громыхнув ведром, ушла в соседний номер.

– Черти её носят, – рассердился Сивергин, обнимая Киру.

– Не мешай мне, я сплю, – оттолкнула она его.

– Кира, – упрашивал он, – Кира.

– Да ты, что? Нет, нет, нет, больше она не даст нам полежать, давай вставать. Она уже скучает, теперь каждую минуту будет стучаться.

Еще вчера Сивергин радовался, что у Киры завелась здесь подруга. А теперь чертыхался, не зная как от неё отделаться.

– Кира, проснулись? Я только на минутку, откройте.

Кира помирала, уткнувшись в подушку.

– Сейчас, Тося, сейчас. Что я тебе говорила.

Набросив на плечи халат, она спустила с кровати босые ноги и тут же их отдернула – пол был ледяным.

– Найди мои туфли.

Сивергин встал и полез под кровать за её туфлями.

– А как хорошо на улице, – заглядывала Кира в окно. – Оставь, не нужно, – отпихнула она его руку, – дай сюда, я сама.

Солнце проникало в номер сбоку, рассекая подоконник и золотя стекла.

– Как там тепло, наверное, – радовалась Кира, брызгая на лицо холодной водой из-под крана, и судорожно вздрагивала, поводя голыми плечами.

На ней была короткая черная комбинация, едва прикрывавшая узкие бедра, в которой она показалась Андрею ряженой – нимфеткой, надевшей на себя женское белье. «И не скажешь, – подумал он, – что это мать уже взрослого сына».

– Сейчас войдет, – имея в виду горничную, предупредила Кира, когда Андрей дотронулся до её холодных мокрых плеч. – Дай полотенце.

Она насмешливо следила за ним, досуха промокая лицо и шею вафельным полотенцем, и при его малейшем движении к ней выразительно показывала глазами на дверь.

Наконец впустили истомившуюся под дверью горничную.

– Вот, – протянула она Кире стаканчик с мороженым, – угостили. Хотите?

– Нет, нет, спасибо. Я не ем мороженого, – отказалась Кира, весело глядя на Андрея.

– Иду я на работу и встречаю на улице знакомого, соседа нашего, он взял да и купил, – объяснила Тося, совершенно этим потрясенная. – И с чего это он?

– Может быть, влюблен? – подсказала Кира.

Нет, что вы, – испугалась Тося, – спьяну, наверное.

Кира хохотала, одеваясь и укладывая вещи.

– А я, Тосенька, уезжаю сегодня, – похвасталась она горничной и загадочно улыбнулась Андрею, будто была с ним в тайном заговоре.

Горничная расстроилась, даже всплакнула от огорчения, и в это утро с особым старанием возилась в их номере.

Обедали они внизу в гостиничном кафе. А после обеда звонили её подружке. Трижды им набирали Питер и трижды никто на звонок не ответил. Сивергин обрадовался, уговаривал Киру подождать до вечера или лучше до завтрашнего утра, но она и слушать его не стала. Она едет в Питер сейчас – и весь разговор.

До областного города Кира решила добираться по реке, а там пересесть на поезд до Петербурга. Сивергин собрался ехать с нею на пристань, она категорически запретила ему. «Тебя ждут на заводе. Работа, прежде всего». Сам он был настолько подавлен её отъездом, что не сумел настоять.

Когда Кира садилась в автобус, солнце жгло как в июле. Дорога подсохла, изрезанная окаменелыми колеями, и уже сухо пылила под колесами редких машин.

Она устроилась у открытого окна, счастливо улыбаясь. Сивергин тоже выдавливал на лице подобие улыбки, и все порывался вскочить в автобус.

– Я напишу тебе, – пообещала Кира. – Не горюй. Не такая уж я удачливая... Просто мне хорошо сейчас... и это все.

Ожидание отъезда ещё долго томило обоих. Наконец, захлопнулись дверцы и автобус, развернувшись, выехал на шоссе.

Кира весело махнула ему на прощание из открытого окошка, автобус завернул за угол и скрылся.

– Я успею, – говорил он себе, изучая расписание. – У меня в запасе полчаса.

Но следующий автобус опоздал. Шофер долго копался в моторе. Все возмущались. Сивергин молчал, стиснув зубы, дрожа от нервного озноба.

– Что это я, успокойся. Что это я?!

Всю дорогу он видел перед собой скачущие вверх-вниз чьи-то затылки, задыхаясь от духоты и пыли.

Вбежав на пристань и никого не найдя там, он бросился к кассе. Она была закрыта. До «Ракеты» оставалось десять минут, а вокруг ни души. Ошеломленный, метался он от кассы к причалу и обратно – и ничего не понимал. Когда он был готов пробить головой ненавистное окошко, появился дежурный в форменной фуражке. Старик объяснил Андрею, что четырехчасовая «Ракета», опоздав, подобрала всех, кто ожидал пятичасовую. С нею – и уехала Кира.

Весь день парило. После полудня небо заволочло облачной пеленой. К пристани подвалила пятичасовая «Ракета». Постояла, никого не высадив и не приняв на борт – и ушла.

Вечерело. Слева, из-за реки, надвигалась на пристань низкая черная туча. До самой земли спускались от неё белесые вихри.

Старик в форменной фуражке замкнул дверцу на причал и ушел.

А Сивергин всё стоял и ждал. Вскоре вокруг почернело. Дождь, перемешанный с градом, закрыл всё пространство. Лишь где-то, посередине реки, еще можно было рассмотреть беспомощно болтавшуюся на волнах одинокую лодку. А дождь всё лил и лил, и хлестал по размякшей земле мутными холодными струями.

В город Сивергин вернулся только к вечеру. Он чувствовал себя разбитым. Ступая по разбросанным через дорогу доскам, он перешел улицу и направился к гостинице. По скользкой глинистой дороге, натужно воя, ползли автоцистерны, всё забрызгивая вокруг себя желтыми комьями грязи. Вздрагивая под морозящим дождем, мыльно пузырились лужи.

Сивергин пересек вестибюль, поднялся на четвертый этаж, открыл дверь и оглядел номер – не забыла ли она что-нибудь из вещей.

На столе в вазе стояли, привезенные Киной, цветы – желтые ромашки. «Эти скоро завянут, – подумал он, – их придется выбросить». Открыл дверцу шкафа – пусто. Все взято, ничего не забыто. Тут он заметил в зеркале дверцы, что у него завернут внутрь ворот пиджака. Он не сразу сообразил, что его так взволновало. Потом понял: они прошли через весь город, а она этого не заметила. Не заметила. Или просто не видела его.

И вдруг он всё вспомнил: то, о чем не хотелось думать, что бросалось в глаза, что он не мог себе объяснить. «Нет, – говорил он, – нет». А номер, холодный и разоренный, брошенный ею номер – говорил ему: «да». Сивергин похолодел от нелепого подозрения.

От желтого линолеума, которым был покрыт пол в коридоре, его мутило как от сырых яиц.

Он быстро добрался до почты и заказал разговор с Петербургом. Он хорошо запомнил номер телефона, по которому они пытались дозвониться утром. Он не знал, что скажет, но ему хотелось услышать *этот* голос. Это как наваждение, как страсть – услышать и, может быть, что-то понять.

– Ну что, довольны? Приехала жена? – как доброму знакомому улыбалась в окошке телефонистка.

– И уехала.

– Что так скоро?

Сивергин неопределенно пожал плечами – мол, ничего, всё в порядке.

– Значит, опять вы одни?

– Уже не один, думаю, с соседом.

– Храпит? – с сочувствием поинтересовалась телефонистка.

– Храпит и скрежещет зубами.

– А вы заткните уши ватой и отвернитесь к стене.

– Да, спасибо. А чем *тут* заткнуть, – и он тронул рукой лоб.

Его вызвали в кабинку.

– Кто это? – услышал он в трубке приятный мужской голос.

Сивергин сдерживал дыхание, и молчал.

– Слушаю вас. Ну, хватит разыгрывать. Кто это говорит? Кто говорит? Кто это?

1977

Она

Впереди, за строящимся зданием вокзала, разгоралось радужное зарево. Обуглились черным сквозным остовом металлические конструкции. Померкли путевые васильки, остро сверкавшие в дождливой полутьме. И тотчас же из-за поворота, ослепив всех мощным прожектором, вылетел поезд.

Толпа встречающих попятилась, оглушенная лязгом и свистом электровоза, и десятки глаз впились в оконную рябь состава. Сердце жарко билось под неистовый грохот накатывавших и накатывавших вагонов. Руслан схватился за голову и на мгновение зажмурил глаза.

Минуту спустя на платформу повалили истомившиеся в дороге пассажиры с чемоданами, коробками, узлами. Руслан шел вдоль состава, скользя взглядом по незнакомым лицам.

О своем приезде *она* известила его телеграммой, указав лишь номер поезда. Но Руслан был уверен, что узнает её среди сотен тысяч, не то что в какой-то жалкой толпе приезжих.

Они познакомились на турбазе накануне его отъезда и переписывались потом четыре года. *Сейчас она ждала его в этой толпе*, и ему надо было только узнать её. Казалось, он навсегда запомнил её лицо, черные, как сливы, глаза, пухлые складочки у рта. Руслан (словно это было вчера) видел перед собой её длинные ноги у воды, помнил её любимую позу – сидеть, обхватив колени руками. Слышал тот оглушительный стук сердца, когда их пальцы сплелись, а отблески костра скользили по её лицу, шее и коленям. Утром они разъехались, даже не простившись. Клочок бумаги, с небрежно нацарапанным её рукой адресом, Руслан всю дорогу ощупывал в нагрудном кармане.

Однажды ему стало скучно, он болел, за окном лил дождь. Руслан затосковал и написал ей письмо. Она ответила – и с того самого дня он уже не мог ей не писать, и *она*, видимо, тоже.

Пройдя весь состав из конца в конец, Руслан (в это нельзя было поверить!) пропустил её в толпе. Платформа опустела. Опасаясь окончательно потерять её, он выскочил на привокзальную площадь. Если они действительно разминулись, ей некуда будет деться, кроме как заночевать на вокзале.

Последняя неделя была очень жаркой, даже листва на деревьях запылилась и привяла, а вчера прошел сильный ливень с грозой – и сразу похолодало, и весь нынешний день было пасмурно.

Желто и мутно горели фонари. Дрожащие юркие капли стекали по запотевшим стеклам вагонов, за которыми застыли безучастные лица проводников... Бесшумно двинулся состав, и ни одно из маячивших за стеклами лиц не изменило выражения.

В зал ожидания без билета не пускали, но Руслан, уловив момент, проник туда с толпой туристов.

– Я бы хотел дать объявление, – сунул он голову в окошко для справок.

Прислушиваясь к громкоговорителю, Руслан взял в буфете горячую пиццу и встал у крайнего столика. Напротив ужинала симпатичная девушка – темноволосый «галчонок» – с прямыми волосами ниже плеч и отрезанной длинной челкой. Руслан рассеянно отметил для себя её смуглое, курносенькое лицо, полные губы, её взгляд, растерянно блуждающий по залу. Он уже не сомневался, что Люся просто не приехала с этим поездом, куда бы ей иначе деться здесь на вокзале. «Еще *эта* уставилась», – раздраженно отвел он глаза от девушки. С той самой минуты, как их взгляды встретились, «галчонок» с явным интересом поглядывала на него.

Подцепить бы её сейчас – и в кино, напрашивалось само собой. Мешала, сидящая у костра, Люся, её белеющие в отблесках пламени ноги, прижатые к груди, с остро торчащими коленками, и темные угольки влюбленных глаз... Нескромность *этой* девицы извиняло одно – она была хорошенькой, хотя престиж её в глазах Руслана, тем не менее, стремительно падал.

– Привет. – Семен и Соня обступили его столик с двух сторон, будто их здесь ждали.

– Целумбо, Руся, – и Соня протянула ему жвачку, – на, зажуй пищу.

– Предложи и девушке, – подсказал сестре Семен. – Руся, представь нас.

Семен был светловолосый, небольшого роста, ладно скроен, соразмерный и вымеренный, будто его приготовили в аптеке.

– Не представляю, кто такая, – небрежно бросил Руслан.

– А мы думали, блин... – Соня забрала у него стакан с «фантой» и допила.

– Он блефует? – подмигнул девушке Семен.

Она вскинула брови, и полезла в сумку за платком.

– Я давно тебя знаю, ты работаешь в «Лавке древностей».

– Здесь у меня нет знакомых, – девушка собралась уходить.

– Маму нашу спровадили в санаторий. Теперь, Руся, свобода.

– Мы с Сонькой купили в метро клёвую дивидишку, пойдёмте к нам посмотреть, – пригласил Семен и незнакомую девушку.

Руслана удивило, как легко она согласилась. Он еще раз оглядел опустевший зал. Не идти же теперь домой и терзаться до утра, что не встретил. Накануне он и так не сомкнул глаз, переживая предстоящую встречу с Люсей.

По дороге решили заехать к Ветлугиным. И эта «его» девица, как ни в чем ни бывало, шла рядом с Семеном и улыбалась его дурацким шуткам.

В передней Ветлугиных было темно. Душил запах нафталина и сладковатая испарина от свежeweымытого дощатого пола.

– У нас лампочка перегорела, – предупредил прокуренный женский голос, – снимайте обувь и идите в комнату. – Шаги удалились, затихли.

Еще нужно было сообразить – куда идти. Приглядевшись, заметили слева под самым потолком золотистую узкую щель. Двинулись к ней и наткнулись на дверь. Осторожно приоткрыли её и вошли в освещенную комнату. Сразу за дверью, занимая треть комнаты, стояла низкая тахта, заваленная подушками, журналами, фотографиями. Справа от двери часть комнаты перегораживал платяной шкаф.

– Карина, кто там? – услышали они картавый мужской голос.

– Карины Григорьевны здесь нет, – ответил Семен.

– А, это ты, Семен?

– Нет, – опередил всех Руслан, – тут...

– Да, кто там, наконец, дух святой? Покажитесь.

Руслан пропускал вперед Семена, тот Соню, она же, заглядывая в овальное зеркало в торце шкафа, пыталась взерошить свои жесткие рыжеватые волосы.

– Алё, что вы играёте со мной?

Мужчина явно занервничал, в его голосе послышались истерические нотки. Он показался из-за шкафа: худой, с жидкой бороденкой, вьющейся по скулам светлыми колечками, в вельветовом пиджаке на голом теле, в черных брюках и босой. Жестом он пригласил гостей на тахту. Минуту спустя они уже сидели, поджав под себя ноги, держа в руках его картины. Подержав их какое-то время, вздыхали и молча менялись.

«Галчонок» перевернула картину снизу-вверх, поставив её на попá.

– Тебе нравится? – шепнул Семен, взяв девушку за локоть.

– Я правильно держу, где тут верх?

– Неважно, подержала и передай соседу.

– А ты, что меня щупаешь, – отодвинулась она от Семена.

Тот отнял руку, и вдруг заметил, что Руслан ревниво наблюдает за ними.

– Ты давно его знаешь? – кивнул он на Руслана.

– Четыре года и целый час.

Стали прибывать гости. Карина принесла бутылку водки и поставила на тахту блюдо с фруктами.

– Хрусталя не будет, уж не обессудьте.

Бутылка пошла по кругу. Резко запахло апельсинами, гости захрустели яблоками.

«Галчонок» отпила маленьким глотком и передала бутылку Семену.

– Ты женат? – спросила у него.

– Я не могу без друзей, а жена их *быстро* отвадит от дома.

– Соня твоя подружка?

– Моя сестра... очень, кстати, понятливая. Бросаем её на Руслана и едем ко мне. Я купил прикольную дивидишку, оттянемся по полной. Идет? Они и не заметят, им самим давно хочется того же. Тут скучно сегодня. Картины пересмотрят, начнут стихи читать. Назююкаются, полезут целоваться и расползутся по темным углам, как раки из ведра.

«И не такая уж она симпатичная, – не стесняясь, разглядывал девушку Руслан, – и лицо какое-то темное, и нос припухший, и нестриженные патлы».

– Самоутверждение личности, – услышал Руслан, очнувшись, голос Ветлугина, – имеет две формы. Есть скрытая форма насилия и тогда нужно...

– Не нужно. Никому это не нужно.

В дверях комнаты сияло толстое добродушное лицо нового гостя.

– Ветлугин, – напустился он с порога на хозяина дома, – успокойся. Не раздувай ноздри. Подумай о потомках, тебе их не жалко?

Плотные щеки круглолицего, за которые так и хотелось его ущипнуть, растягивала белозубая улыбка. Он обнял Карину и еще раз любовно оглядел всех.

Семен накручивал на палец прядку волос «Галчонки», а та упорно отстранялась от него.

– Я не собираюсь пускать пузыри, как вы, – невозмутимо продолжал Ветлугин. – Общество всегда нуждается в людях способных время от времени его возбуждать.

– Что-то оно, – заметил круглолицый, – никак не возбудится, глядя на твои шедевры

– Ничего, со временем привыкнет, начнет понимать...

– А не боишься, что поймут? Делать, что будешь?

– Читать стихи, – вмешалась Карина, – Ну-ка, Ветлугин, давай Державина.

– Здесь это фирменное «блюдо», – шепнул Семен «Галчонке».

Ветлугин церемонно надел очки. Ему подали томик Державина. Он раскрыл его на нужной странице, долго вглядывался в неё, шевелил губами – и начал. Он читал гнусаво, величественно, не выговаривая шипящие, свистящие, цокающие и рыкающие звуки. Карина, да и все гости, смотрели на него зачарованно, как на Мессию.

– Я царь – я раб – я червь – я бог!

Руслан поймал взгляд девушки. Её внимательное лицо с приоткрытым ртом имело самое дурацкое выражение. «И что Семен нашел в ней?»

На тахте, сгрудившись, тесно сидели гости. Кое-кто жевал фрукты, кто-то цедил из бутылки шампанское. «Галчонок», отклонившись, машинально оперлась на руку Семена и тот, воспользовавшись случаем, слегка поглаживал её. У Руслана неприятно засосало под сердцем. Он достал из кармана сигареты и незаметно вышел из комнаты.

Он курил на лестничной площадке. Ему было до лампочки, о чем договаривался с девушкой Семен, но всё его нутро протестовало. Разве *она* не его, Руслана, может, и он её хочет. Она же тебе не нравится, тут же уел он себя. Или ты это с голоду? А может, и любовь, как голод, – продолжал он стебаться, – живет от обеда к обеду. И никакой тебе «несказанности»?.. Может, и Люся прикололась на нем?

Я царь – я раб – я червь – я бог!

Гости выпили шампанское и разбрелись по квартире.

Все четыре стены темной маленькой комнаты представляли собой стеллажи с книгами. Рабочий стол и кушетка – вот и вся мебель.

– Это комната моей жены, – объяснил девушке Ветлугин, – сейчас она пишет книгу «Ночные музы Чехова». Отдельные их отзвуки мы слышим в его повестях. У вас есть любовник? Я не спрашиваю – муж, что уже само по себе было бы вашим диагнозом.

«Галчонок» отрицательно покачала головой

– Но ведь вы влюблены, так?

Она кивнула.

– Это означает, иметь прекрасный голос и не петь. Не надо бояться. Возьмите дыхание и пойте. Подберите только достойный репертуар. Начните с вечной темы, темы творчества. Один только *художник* вам сможет дать этот свет, Богом осиянный творец...

Он был так прост и чистосердечен, произнося всю эту патетическую чушь своим участливым глуховатым голосом, что невольно её душа отдалась ему сразу безо всяких усилий.

– Я вижу у вас изящной формы кисть, длинные пальцы, овальные ногти, подушечки мягкие, округлые, суставчики тонкие, как на мраморах Кановы. Вы иногда смотрите на себя в зеркало, вот так – отстранено. Вот зеркало – взгляните: ваша голова, как будто тюльпан на стебле шеи. Эта блузка не совсем в вашем стиле. А мы её сейчас уберем... давайте, чтоб не мешала. Вот теперь видите эти две обольстительные ключицы, этот мягкий холм груди, опустившийся под собственной тяжестью. Эти розоватые капли сосков. Послушайте, не надо, не прячьте их. Я хочу сделать набросок. Расскажите мне о себе.

– Почему здесь так темно?

– Это темная комната. Похоже, её раньше использовали как чулан. А жене было негде работать, и она устроила тут свой кабинет. Я тоже здесь работаю, когда бываю не в духе. Хочу забыть об улице и... о том, как говорил поэт, «какое тысячелетье на дворе».

Дверь была приоткрыта. Руслан видел в большом зеркале яркий отсвет от лампы, часть стеллажа, округлое плечо и острый мысик её груди.

«Бесстыжая, – сморщился он, – первый раз в доме и уже разделась». Он вдруг до спазмы в сердце затосковал о Люсе. Что помешало ей приехать, что? Не могла же она его наколоть. И тоска расколола ему сердце надвое, и оно стало заполняться пустотой. «Кокотка, – обзывал он девушку, – тронет её – убью». И так сладко стало у него на душе. «Убью», – повторил он, и закипел весь от восторга.

По коридору шла Карина. Она заметила Руслана и, подойдя, молча взяла его за руку и повела за собой. Они оказались в детской. Её сын спал на деревянной кровати, выставив кверху попку. Карина подоткнула под него одеяло и потащила Руслана на пол. Они сели на толстый ворсистый ковер.

– Никогда этого не делай здесь, – шепнула она Руслану, – если им хочется побыть вместе – пусть.

Карина положила ему на плечо голову, её пальцы запутались в его волосах. По спине у него поползли мурашки.

– Какой же ты дичок. Тебя никогда не ласкала женщина?

– Я в этом не нуждаюсь. Я их сам ласкаю.

– Ой ли... Я этого не заметила.

Она прижалась грудью к его спине, и теперь уже его голова лежала у неё на плече. Шея у Карины пахла несвежей кожей, и была на ощупь дряблой, как и её губы – какие-то безразмерные и безвкусные. Руслан ждал, что она сейчас вынудит его прямо здесь в детской овладеть ею.

– Ты зачем расстегнул мне пуговицы, я боюсь сквозняков. Тебе двадцать? Я тебя вдвое старше. Неужели я не напоминаю тебе маму? Разве ты целуешься с мамой врасос. Ты не туда забрел, малыш.

Они сидели, не шелохнувшись, словно двое мертвецов прислоненных один к другому. В мастерской слышался смех. За окном шумел мокрой листвой ветер. Перед глазами у Руслана горела красная точка. Он всматривался в неё, желая понять, что это. Но она всё глубже холодной спицей вонзалась в лоб у переносицы.

– Принеси мой стакан с недопитым шампанским, – попросила Карина, – он там, в мастерской у тахты.

Поднявшись едва не до потолка, вылетел Руслан через двери детской, радуясь, что летит бесшумно, не чувствуя под собой ног. И уцепившись за притолоку двери темного кабинета, смотрел, не видя, но почти физически ощущая, всё то, что там у них происходило.

Придушенный свет кабинета, повсеместно распространяясь, словно кислота, пожирал темноту. Всё вокруг шевелилось, дышало, шуршало смятой тканью. Художник целовал девушку и тупо, как глухарь на току, всё просил об одном и том же – и вдруг замолк. Руслана поразила беспомощность «Галчонки» перед этим откровенным мужским домогательством. «Нет, ради бога, нет», – выдохнув, обмякла она, сжала его руку коленями и уступила... «Я боюсь, – шептала она, – надень это...» Он слез, стал лихорадочно искать... Она смотрела на него с тахты, приподнявшись. Ветлугин стоял перед нею полураздетый, что-то суетливо делая в темноте, чужой, вороватый, старый.

– Ты старый, – сказала она, и неожиданно засмеялась, её душил бессильный, оскорбительный смех.

– Успокойся, успокойся же ты, – шипел возле неё Ветлугин.

– Старый, старый, – хохотала она, судорожно одеваясь и отталкивая художника.

Дверь перед носом Руслана захлопнулась.

– Я же просила этого не делать, – сказала Карина ледяным тоном.

Она не успела договорить, как дверь опять распахнулась, и девушка, столкнувшись с ними, вырвалась из рук Карины и выскочила на лестничную площадку.

– Дура, – кричала ей вслед Карина, – дура, он же гений.

Руслан догнал её на улице. Та шла, не оглядываясь, и всё прибавляла шаг. Она одергивала на ходу юбку, разглаживая её ладонью, и встряхивала волосами.

Было уже совсем светло. Высоко-изогнутые гадючьи головки фонарей держали в разинутых пастьях по бледно-зеленому светлячку. Плеча на тротуар из мутной лужи, подкатил к остановке первый троллейбус. Девушка вошла в пустой салон. Руслан следом. Они прошли вперед, хватаясь за спинки сидений, и сели – она у окна, он рядом. Говорить было не о чем. Руслан видел, как бились одно о другое её колени.

Троллейбус натужно выл, содрогаясь. На повороте его занесло. Руслан качнулся и прижался к девушке, его рука, соскользнув, оперлась о её колени. Они вздрогнули и крепко сомкнулись. Кровь ударила ему в голову и он, чувствуя ладонью их прохладный трепещущий глянec, не мог оторвать свою руку. Девушка будто давно ждала этого, резко сбросила его руку и в первый раз в упор взглянула на него.

– Пропустите.

Она сделала движение обойти Руслана, но запуталась в его ногах.

– Да пусти же!

Она выскочила из троллейбуса, закрыв лицо ладонями.

– Дура, – ошеломленно пробормотал Руслан, испытывая острое чувство стыда и боли.

Дома он узнал, что вчера вечером звонила какая-то Люся (*какая*, он знает), она будет ждать его в полдень в вестибюле института.

В двенадцать в вестибюле толпились абитуриенты. В толпе, где-то у расписания вступительных экзаменов, промелькнуло лицо вчерашней знакомой.

– Эй, Ромео, ты, что здесь делаешь? – крикнула она.

– Жду свою Джульетту, – грубо ответил он.
– Дай ей яду, чтоб не мучилась.
Он прождал её до вечера. *Она* – не пришла.

1975

Душа и инфаркт миокарды

Два дня в палате городской больницы пустовала койка. На третий день в понедельник разбуженные спозаранку больные увидели сидевшего на свежих простынях старика. Он сонно щурился на желтый электрический свет и покорно держал под мышкой градусник.

– Ну вот, Гостев, поправляйтесь, – пожелала ему нянечка из «приемного покоя».

В палате было душно. С утра преувеличенно громко звучало радио. Гостев сипел, запрокинув голову, зевал беззубым ртом и, как нахохлившийся ворон, смотрел куда-то мимо больных в окно. Сходство с вороном придавали ему кустистые брови и крючковатый нос на изжелта-сухом, исхудалом лице.

Старожилы палаты молчаливо разглядывали старика, гадая, сколько ему отпущено.

Гравшин, самый молодой из них, смотрел недружелюбно. Ему едва исполнилось двадцать. Коренастый, физически крепкий, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что серьезно болен, и суеверно сторонился больных.

Для Кожина, тридцатилетнего веснушчатого блондина, который мрачно слушал юмористическую передачу «опять двадцать пять», не существовало и этого утешения. Прошло время, когда он был центром внимания, собирая вокруг себя многочисленные консилиумы. Его болезнь признали неизлечимой и, утратив «популярность», он заскучал, стал задиристым, желчным, и однажды вдруг понял, что близок к смерти.

Заскрипели пружины. Проснулся третий из четырех старожилков, больной Язин.

– Дед, – обернулся к нему Кожин, – опять тебя кто-то душит?

Действительно, из кровати Язина доносилось тонкое вскрикивание, будто кого-то пытались удавить в ней, а тот отбивался из последних сил.

– С утра ичится, – пожаловался Язин, прислушиваясь к себе.

Он шел на поправку, надеялся вскоре выписаться – только икота еще мучила по утрам.

– Ичится, и ничего не поделаешь, – философски заметил он.

Язин нашарил босыми ногами тапки, побряхтел и встал. На розовом черепе поднялись редкие светлые волосики. Был он щуплый и заспанный.

– Пойду до ветру.

– Смотри, не застудись, – сострил Кожин.

Они постоянно цепляли друг дружку – начинал Кожин, старик защищался.

– Э, балаболка, – покачал головой Язин, – ты, вон, себя соблюди. А то моду взяли по больницам валяться. Мне, хоть и за семьдесят, а буду покрепче вас, молодых. Я еще в финскую ранение получил, 20 лет в строю...

– А что ж ты не генерал?

– Ты, кобель, зубы скалишь, – обиделся Язин. – а я три войны прошел, и не упомяну, когда для себя жил – всё воевал да строил, строил да воевал.

– Ну, ладно, дед, иди, проветришься, – примирительно махнул Кожин.

Но тот всё ворчал, не в силах успокоиться. Набросил поверх нижнего белья халат и, подметая белыми тесемками пол, пошлепал к туалету.

– Выпишут скоро, – проводил взглядом Кожин.

– Выпишут, – передразнил Гравшин, – и нас выпишут... если не уморят.

Над дверью палаты панически замигала сигнальная лампочка, раздался пронзительный звонок. Это проснулся сосед Гостева по другую сторону от двери и, не открывая глаз, уже нетерпеливо дергал за шнурок звонка.

– Утку, конечно, – радостно сообщил он, явившейся на звонок медсестре.

Тонкий голосок наголо обритого Опалова никак не подходил к его могучей фигуре с толстой шеей и красным одутловатым лицом.

– Больше просьб нет?

Заступившая с утра на дежурство молодая девушка, выспавшаяся, в сверкающей искоркой белой шапочке, раскрыла настежь форточку, раздала больным градусники. Будто в полусне следили они, как легко и ловко она двигалась по палате, завидуя её здоровью, хорошему настроению, свежему румянному лицу. «Сглазят девку», – с жалостью подумал Кожин, сколько «завидуших» глаз пожирает её каждое утро.

Не успела она выйти, как вдогонку ей опять понеслись длинные тревожные звонки.

– Что случилось? – вернулась она.

– Утку, конечно, – повторил свою просьбу Опалов.

– Няня сейчас придет, я не глухая, – строго, но дружелюбно объяснила медсестра.

– Вот именно, – одобрительно отозвался Опалов. Каждое слово, после перенесенного им инсульта, ему давалось с трудом.

– Вот именно, сестричка. Я... – протянул он к ней руку, заметив, что она собралась уходить. – Я... просил... это, чтобы... по... по... – язык его не слушался, и медсестра пыталась ему подсказать.

– Чтобы поправили?

– Нет, – досадливо крутил он головой. – По... по...

– Поставили?

Опалов нервничал, не в силах выговорить нужное слово, и никто не мог ему в этом помочь.

– Позвали? – продолжала гадать медсестра.

– Вот именно, – радостно закивал он. – Позвали ко мне... Степанову Марь Палну... санитарку из хирургии.

Всё это он произнес, запинаясь, заплетающимся языком, но умоляюще и страстно.

– Я вам уже говорила, – спокойно напомнила медсестра. – Ей передали. Она придет. Как освободится, так и придет. Теперь уже скоро.

– Вот именно «скоро». А прошел месяц, – протестующе залепетал Опалов.

Его полное лицо по-детски скривилось в жалостливую гримасу, а мутные сонные глаза увлажнились,

– Кем она вам приходится? вы скажите мне? Нам было бы легче с ней говорить.

– Знакомая. Санитаркой... в хирургии.

– Опять вы...

– Я... я... – плачущим голосом продолжал Опалов, снова начиная нервничать.

Опалова привезли месяц назад в бессознательном состоянии. Подобрали где-то на улице, валявшегося в снежной жиже.

Тогда была оттепель, а сейчас за окном настоящая весна. Земля почернела. Солнце горячо грело через стекло. А воздух, весенний, горький наполнял комнату из настежь раскрытой форточки хмельной морозной свежестью.

II

– Вот вам, девочки, ваш больной. Поработайте с ним.

Это дежурный врач привел в палату кураторов.

Начался обычный рабочий день.

Первыми, в чьи руки попал новенький, были кураторы. Две девчушки, студентки четвертого курса, робко подошли к постели Гостева. Одна из них присела на краешек кровати, и начался допрос.

– Какие условия были, когда вы родились?

– Да какие там условия, – махнул старик рукой.

– Где работали?

– Раньше здесь завода не было... деревня. В поле и работал.

– Когда женились?

– Не сосчитаю теперь. Молодой ишо был...

– Ну, сколько лет назад?

– Да с полвека будет. Нет, вру... поболе.

– Дети есть?

– Есть.

– Здоровы?

– Здоровы.

– А чем болели в детстве?

– Да чем... – старик был недоволен вопросом. – Чем болел, тем болел. А чтоб это, значит, как-то до лекарств – так никогда не прибегал.

И миленькая девочка в очках, с короткой стрижкой, едва касаясь птичьей груди старика, принялась аккуратненько выстукивать его.

– А операции были?

Как замороженные следили больные за этим священнодействием. Все, кроме Гравшина, глаза которого испепелили бы кураторов, если б могли.

Студентка тщательно пересчитывала у старика рёбра, пока её подруга терпеливо ждала своей очереди.

– Один, два, три, четыре, пять...

Вдруг она задумалась, наклонилась к подружке и зашептала:

– А сколько их должно быть? Я забыла.

Закончив осмотр, миленькая девочка уступила свое место подружке.

– Ну-ка, ложитесь, – наконец, дорвалась она до старика.

– Ничего, дочка, ничего.

– Что ничего? Ложитесь.

– Ничего, я посижу.

– Вам что, так легче?

– Да нет, не легче. Я воды попью, – вдруг решил старик.

– А-а, ну тогда лягте, – нетерпеливо нажимала на него студентка, – мы спешим.

И не дав старику напиться, она уложила его в постель.

– Теперь, дедушка, не дышать, – попросила она, сжав побелевшие от усердия губы.

Взгляд у нее был поистине одержимый, и, казалось, ничего, кроме толкающего, стучащего и щелкающего сердца для неё не существовало – ничего, даже больного, который вздыхал и морщился под её сокрушительным осмотром.

– А я дома конспект забыла, – нашептывала ей подружка, – и что там с этим сердцем делается – понятия не имею.

Тем временем палату заполнили студенты, которых больные прозвали «пингвинами», за их привычку сбиваться в тесные кучки.

Следом за ними вошел профессор, очень тучный, высокий, в крахмальном халате. Широко размахивая руками, он сам был похож на большого старого пингвина. Невидящим взглядом светло-серых навывкате глаз окинул он больных, успев одним длинным кивком поздороваться с каждым из них, и остановился посреди палаты.

– Нет, нет, – отмахнулся он от Кожина, который уже приподнялся в постели на его призывно-ищущий взгляд. – Где тут у вас новенький?

Совиные глаза Ивана Семеновича незряче уставились на больных.

– Гостев, кто?

Старика снова раздели, студенты по очереди подходили и слушали то место у него на груди, куда энергично указывал им белым пальцем профессор.

– Вас что-нибудь беспокоит? – профессор резко обернулся к окну, куда неотрывно смотрел Гостев, чуть отклоняясь и вытягивая шею. – Ну-ка, встаньте.

Старик встал.

– М-да, – сокрушенно промычал профессор, обзрев слегка прикрытый кожей скелет Гостева. – А вот мы попросим нам помочь молодого человека.

И он поманил к себе Гравшина.

– Пожалуйста. Я сейчас постараюсь вам объяснить с помощью этого юноши тот интересный случай, который мы слышали только что у больного.

Гравшина раздели до пояса, чем-то зеленым разрисовали ему грудь, принесли низенький табурет, на который он взошел как на эшафот, и профессор, с присущим ему темпераментом, принялся разьяснять студентам особенности заболевания Гостева.

Он говорил около часа, не обращая внимания на испепеляющие взгляды Гравшина. Тот продрог и одеревенел на табурете. Все, в том числе и больные, с увлечением слушали лекцию и не замечали, как профессор, тыча в очередной раз Гравшина в грудь, задевал в азарте его подбородок пухлой белой кистью, отчего голова Гравшина дергалась, а сам он, исполненный важности, морщился, но терпел.

– Далее, мы определим с вами «абсолютную тупость», но это уже тема завтрашнего занятия, – бойко закончил профессор и увел «пингинов» из палаты.

– Сейчас... там, внизу, халатики долой, и разбегутся по домам. А дома уже щи наварены, дух от них такой – на лестничной площадке слышно. Съедят. И иди куда хочешь: в кино, на выставку, в парикмахерскую, к девушке – и ничего у тебя не болит.

Это «травил» душу Кожин.

– А потом *мы* похихикаем, – мрачно заметил Гравшин, – когда они нас лечить придут.

– Это... это-о, – залепетал Опалов, хотел что-то сказать и... только сплюнул.

III

– Кто здесь сегодня недоволен?

Наконец в палате появился врач: симпатичная женщина с армейскими замашками, очень добрая, но крутая в обращении, не терпевшая ни стонов, ни жалоб.

– Кто же здесь недоволен? – окинула она хозяйским взглядом притихших больных.

– Вот именно, – утвердительно кивнул Опалов.

– Это вы опять недовольны?

– Я лежу – доверительно начал Опалов, – встать не могу... а потом смотрю – «утка» улетела... временно, конечно.

– Живи не тужи – и помрешь без убытку, – подмигнул ему Язин.

– А вы, Язин, готовьтесь, – обернулась к нему врач, – будем сегодня выписываться.

– Вот я и говорю, что покрепче буду вас, молодых, так доктор?

– Не забывайте только – никаких излишеств, жареного, соленого...

– Кашку, дед, кашку, – нанес ответный укол Кожин.

– Э-э, балабоны, – всерьез завелся Язин, – отъелись тут боровы и зубы скалите. Баб своих постыдились бы. Ждут они вас, ждут – а как им надоест? Баба присмотр за собой любит и внимания всякие. А-то не так? Служил у нас в полку кавалерист, всё гладкостью своей козырял, мол, от баб удержу нет, то с одною, то с другою. А как ему руку оттяпали – куда они все и подевались. Какое же он, безрукий, им может внимание оказывать.

– Ну, ладно, дед, хватит, утомил.

Шесть месяцев в году Кожин проводил в больницах. Шесть месяцев его молодая жена оставалась дома одна с ребенком – и мысль об этом испивила ему сердце. «А как ей и в самом деле надоест?»

Врач выслушала Язину, перешла к новенькому.

– А вы, почему не ложитесь?

– Ничего. Я посижу.

– Вам так легче?

– Легче, милая.

Она подняла край его сорочки. Было страшно смотреть – до того усохшим и изможденным выглядело его тело, будто весь он был сделан из хрупкой фисташковой скорлупы. По просьбе врача старик то дышал, то задерживал дыхание, глядя куда-то перед собой в освещенное солнцем окно – и все понимали, что не дышать ему было легче.

– Остальных я посмотрю позже, как только закончу с новенькими. Тебя, Гравшин, мне тоже надо выписывать.

– Вам сказали, что у меня вчера были боли?

Жесткие, беспомощные глаза Гравшина неотрывно следовали за врачом.

Врач бессильно пожала плечами.

– Ну, что ж вы хотите, чтобы у вас ничего не болело? Поэтому вы и здесь. Мы сделали, что смогли. Хотим послать вас на консультацию в Москву.

Гравшин молчал. Вся его простецкая физиономия, будто съежилась и потемнела. Он молчал, потому что лучше было ему сейчас ничего не говорить. Иначе всё снова закончится слезами, истерикой, разговором у главврача,

А в дверях уже нетерпеливо ждали своего часа нянечка и процедурная медсестра, которая бережно несла перед собой блестящую крышку от стерилизатора: на крышке лежало рядышком несколько наполненных лекарством шприцов.

– Ой, бедная она, бедная, – запричитала нянечка, имея в виду врача, – ребенок у нее какую неделю болеет, и заменить её некем. Шли бы по домам и нам бы роздых какой дали.

– Она на работе, – тихо, сквозь зубы, сказал Гравшин, – и мы тут не в доме отдыха.

– И что за люди, – возмутилась медсестра, – кто ей дороже: ребенок свой или... (она обвела взглядом палату) всех лечить – не перелечишь. А случись что с её девочкой – кто ей вернет её?

Перетянув Гостеву жгутом руку, она долго возилась с ним, выискивая подходящую для укола вену. Очевидно, это было совсем не просто и, чтобы ввести старику лекарство, пришлось воспользоваться узлами вен, безобразно вздувшимися у него на кистях. С горем пополам, забрызгав себя кровью, она начинила старика лекарством и подошла со шприцом к Гравшину.

– А ты чего ждешь? – спросила она, – особого приглашения?

Слух, что она мужененавистница и потому мстит мужикам, был очень популярным среди больных.

– Ну, что копаешься? Стоять мне тут над тобой? – торопила она Гравшина, медленно закатывавшего рукав.

– Подождете, – с тихим бешенством проговорил он.

Медсестра поджала губы, но смолчала.

– А когда кровь будете вливать? Мне ее положено три раза в неделю. А на прошлой – мне не сделали ни разу.

– Скажи спасибо за плазму. А крови нет.

– Есть.

– Нет. Ну, давай руку.

– Небось, друг дружке втихаря вкалываете.

Она задохнулась.

– Ну, хорошо ж! – пригрозила она, закончив с инъекцией, и быстро вышла из палаты.

– Пусть жалуется. Они еще психиатра вызовут.

Его губы прыгали, он злился, но никак не мог их унять.

– Нехорошо ты, парень, говоришь, – пробурчал Язин, продолжая перекидывать в тумбочке вещи.

– А как хочу, так и разговариваю. Они меня лечить не хотят, – вдруг закричал он так громко, что дремавший под действием снотворных Опалов испуганно заворочался.

– Им всё равно. Спишут, и будь здоров, – продолжал выкрикивать Гравшин. – Мне кровь три раза в неделю нужна, а где она?

– А где они возьмут тебе кровь, – кипятился Кожин, – что они её из себя качают!

– А мне до этого какое дело.

– Ишь, как заговорили, – выпрямился у тумбочки Язин, – привыкли на дармовщину лечиться. Совесть надо иметь.

– А у них она есть? – кричал, уже совсем не владея собой, Гравшин. – Я видел, как тут старик помирал: ему глаза закрыли... дежурная врач опоздала... так она сестру заставила в мертвое тело морфий впрыснуть, чтобы в карточку записать, что оказали помощь.

– Ерунда. Чушь, – кричал в ответ Кожин.

– Я видел... как она писала! Мы для них не люди – кролики подопытные. Тогда к этому старику полную палату нагнали, продемонстрировать им летальный исход, думали, старик им по заказу помрет. Часа два стояли – ждали, от скуки в носу ковырялись, а он, как назло, не хочет помирать, и всё. Умер уже к вечеру – никто и не видел *когда*. А мне еще жить охота. Я два года из больниц не выхожу. Еще и смеются: где ты парень старческую болезнь подцепил? В шахте! Сунуть бы их в забой на всю смену, пусть бы там поскакали: от комбайна жар, с тебя течет, а разденешься, заденешь плечом о штольню – лёд, так тебя холодом и обдаст, ни сесть, ни прислониться. А слышали, как она говорит: «Так ты, что же хочешь, чтоб у тебя ничего не болело?» Да, хочу! Хочу!

Говорил он отрывисто, резко, упрямо мотая головой, заглатывая отдельные звуки, даже целые слова.

– Слушай, Гравшин, что я тебе скажу, – раздался в паузе глухой голос Кожина, – тут в больнице здоровых нет. Может Опалов или вон старик, или я? Конечно, это её работа, но будь же ты человеком.

Гравшин молчал. Его лицо было каменным и жестким, но глаза – совсем детские и беспомощные. Не оборачиваясь, вцепился он дрожащими пальцами в горячие трубы отопительной батареи, едва сдерживаясь, чтоб не разрыдаться.

IV

Солнце, достигнув зенита, зависло, потомилось, и стало медленно заваливаться за крышу больницы. За воротами и городским шоссе темнел голый сквозной лес. В палате, притихшей и сонной, уже залегли первые сумеречные тени.

В дверь тихонько постучали. Минуту спустя к ним заглянуло темное старушечье лицо. Голова старухи огляделась, вытянув шею, скосила глазами за створку двери, где стояла кровать Гостева, и только после этого вслед за головой в палату пожаловала вся старуха.

– Кто здесь будет Язвин? – спросила она, ни на кого не глядя.

– Язин, а не Язвин, – поправил её дед.

– Ну, всё одно. Спускайтесь, пришли за вами.

– Сама ты язва, – едва слышно проворчал он и заторопился.

– А я к вам, – зашаркала старуха к кровати Опалова.

Тот радостно замычал, изо всех сил стараясь объяснить больным, а, может, и похвататься, что к нему пришла хозяйка, на квартире у которой он теперь жил. Но ей было некогда с ним рассиживаться. Она сразу же перешла к делу. Скроив обиженную физиономию, старуха настаивала, чтобы Опалов немедленно выдал ей доверенность на получение его пенсии.

– У вас и за квартиру третий месяц не плочено, – недовольно говорила она, склоняясь к Опалову и заглядывая ему в глаза, – раньше я подождала бы, а сейчас нельзя – надо уплатить. И за телефон не плочено, и убиралась я у вас.

Опалов сиял, слушая её, и нетерпеливо скашивал глаза на сумку, лежащую на коленях у старухи. Со стороны могло показаться, что он ждет от неё гостинцев.

Нашлись и еще какие-то задолженности, и еще. В общем, пусть он пишет доверенность и не берет греха на душу, а то помрет ненароком. А уж как деньгами распорядиться, она знает.

Старуха настаивала, он упирался, и все, выворачивая голову в сторону больных, радостно лепетал:

– Это моя хозяйка пришла... Моя хозяйка. Это она ко мне... ко мне...

Наконец терпение у старухи лопнуло. Она обозлилась, и потребовала вернуть ей ключ от входной двери, выданный Опалову как её квартиранту.

– Вы тут можете лежать хоть до страшного суда, а мне без жильца комнату держать нет никакого резону.

Припугнув напоследок Опалова карой божьей, старуха, не простившись, тем же способом – сначала головой, а уж потом вся – вышла из палаты.

– Вот, истинно, язва, – ворчал дед, облачаясь в домашний костюм, – от такой сам на тот свет сбежишь, если она тебя раньше туда не спровадит.

После минутной тишины в дверь снова постучали. В палате появилась женщина высокого роста в больничном халате, туго завязанном на спине тесемками, как у нянь и медсестер. Вялые черты её внушительного мясистого лица, будто не удались скульптору, так и остались застывшими и невыраженными.

Она отыскала глазами кровать Опалова, придвинула к ней стул и села – вся вытянутая, убийственно спокойная.

Сначала он совсем не мог говорить, а потом стал ей что-то объяснять, помогая себе лицом и едва шевелившимися на одеяле руками.

– Маш... Маша... это, это... ты... Петьку... пусть Петька... видеть хочу... дай, пусть... Петька... это... пусти...

Она просидела так минут пять, точно мумия, не произнося ни слова и не отрывая холодного взгляда от Опалова, пытавшегося ей что-то сказать заплетающимся языком. Встала и, безмолвная, вышла.

Опалов жалко кривился, часто поднимая брови и шевеля губами, силился что-то оказать, весь мокрый от пота и слез, и не мог.

Было не трудно догадаться, что к нему приходила жена, которую он упорно величал санитаркой Степановой, и в родстве с которой ни за что не хотел сознаться.

– Вишь, – покачал головой Язин, – как на картину ходят смотреть. Глянут и уйдут, а ты лежи.

В палате заметно потемнело: белая пелена заволокла небо, вытравив солнечный свет, и молочной пленкой затянула окна.

– Эх, зима сиротская, – вздохнул вконец растравленный Язин, быстро-быстро моргая слезящимися глазками.

V

Затихала, опустела больница. Изредка прокричит в конце коридора медсестра или заспорят о полотенцах с сестрой-хозяйкой няни, и снова всё смолкнет, замрет; с тяжелым хлопанием каплет на подоконник с открытой форточки – и всё течет, мешаясь в один монотонный дремотный гул.

– Ну, скажи папе, кем ты хочешь быть, – просила четырехлетнего мальчугана жена Кожина, раскрасневшаяся от мороза блондинка.

– Хочу быть военным, – гордо выкрикнул мальчик, – и стучать ногами, вот так – бум-бум-бум.

Кожин смеялся, тискал малыша, совал ему конфеты, старался развеселить жену, будто в наказание отбывавшую время посещений.

– Мне за границу предлагают, – устало говорила она, – в торгфлот.

– Куда?

– Нет-нет, не волнуйся, до этого еще далеко... может быть, летом.

Он хотел спросить, а что изменится летом, но вдруг запнулся – с такой бесцеремонностью оценили его жизнь её глаза.

– Ты знаешь, я не против... а куда парня?

– Да это я... так сказала, планы.

От всего её существа веяло духами и лаком, который жестко блестел на свету, обильно покрывая высокую прическу.

– Хочешь помидорчик, – спросила малюсенькая старушка у Гостева, не прерывая разговора с невесткой, – свеженькие, из парника.

– Да-а, ноне продавщицы одеваются как артистки... а артистки как продавщицы.

– Вот именно, – поддержал старушку Опалов, которого кормила с ложки смущавшаяся, тихая женщина.

Она объявилась спустя неделю, как он попал в больницу, и с тех пор ежедневно навещала его и ухаживала за ним. Нет, она не была ему родственницей. Такими глазами, какими смотрел он на неё, на родственников не смотрят.

– Хозяйка была, – похвастался Опалов.

– Да? – что-то в лице женщины изменилось, хотя оно по-прежнему оставалось непроницаемым. – На, ешь.

– Дай мне печенье, – вдруг вспомнил он.

– Какое печенье?

– Там, хозяйка принесла... такое...

Женщина поднесла к его губам ложку и старалась всунуть её Опалову в рот. Но тот недовольно вертел головой и всё просил у неё печенье.

– Ну, дай мне его... там... такое... мне хозяйка принесла...

– Нет там ничего.

– Может, в тумбочке есть? – с надеждой выпрашивал он, и больше всего на свете ему хотелось этого печенья.

– Ничего там нет, – наклонившись, заглянула в тумбочку женщина и снова всунула ему в рот полную ложку каши. – То, что я принесла – лежит, другого ничего нет.

Он насупился, замолчал, но, проглотив кашу, снова улыбнулся.

– А сестра не умеет, – довольно сказал он.

– Что не умеет? – растерянно взглянула на него женщина.

Он показал глазами на ложку.

– Кормить не умеет?

– Вот именно, – радостно объявил он. – Наверное, у неё ребенка не было.

– У меня тоже не было, – с достоинством сообщила она.

– Будет, – уверенно заключил Опалов.

– Лежи уж, – вся покраснев, испуганно покосилась она на соседей.

– Что? Глупость сказал? – не унимался Опалов.

– Молчи, и за умного сойдешь, – шикнула она на него. И вдруг ласково прижала к его губам теплую ладонь.

К Гостеву, помимо сестры, пришли – тетушки, зятя, сватья. Шумные, довольные, с обветренными на морозе лицами, в изжеванных халатах, в спешке кое-как наброшенных

поверх одежды. Они захватили все стулья, потеснили на кроватях больных, принесли с собою, вместе с гостинцами и новостями, пахучую морозную свежесть. И началось: кто и как, чего и с кем, заспорили, увлеклись, затолкали Гостева в угол и забыли о нем. Говорили о погоде, о ценах на рынке, о том, что детям надо бы купить пальтишки к весне, о семенах для огорода, и еще о чем-то, что было жизненно важно для них. А больной, сидя в углу, тихий и далекий от их забот, был рад разве только тому, что жив еще.

VI

Свято место пусто не бывает: кровать Язина занял худой старик с армянскими глазами и пучком седых усов под длинным носом. Он виновато улыбался всем и, будто в гостях, сидел на самом краешке кровати.

Нянечка, которая привела его, задержавшись у постели Гостева, с интересом наблюдала, как мучились с ним медсестры, помногу раз тыча иглой в ломкие фиолетовые вены.

– Мою фамилию не выговоришь, – объяснял новенький Кожину, который молча разглядывал его при тусклом свете.

– Ага... зовите меня Христофором.

Он чувствовал на себе любопытные взгляды, даже менялся в лице от смущения.

Гостев безропотно стерпел пять или шесть неудачных уколов, при этом даже медсестре, казалось, стало не по себе.

За весь день он не съел еще ни крошки. Время от времени он отпивал из стакана воду. Изредка прикладывал руки к вискам, тихо, сам себе, жалуясь на головную боль, и всё смотрел из своего угла на темное недостижимое окно. Этим и ограничивалось неудобство от него как больного.

– А курить вам надо бросить, – уходя, предупредила Христофора медсестра, заметив, как он переложил из сумки в карман пижамы пачку папирос.

– Мне нельзя бросать, доктор, – убежденно сказал он, – на работе заездиют. Ребята пойдут на перекур, а ты, скажут, не куришь – так поработай.

– Ага, – улыбнулся он на смешок Кожина, вот, мол, как бывает.

В десять часов гасили в палатах свет, и с этой минутой всем полагалось спать.

Не лег только Гостев, даже не разобрал постель, всё сидел, шевелил губами и куда-то смотрел в черный квадрат окна. Вдруг его морщины разгладились, лицо посветлело, глаза стали теплыми и лучистыми и он, не замечая того, что заговорил, а, может быть, именно желая поделиться этим со всеми, сказал:

– А балы были какие... страсть... музыка... окна горят... подойдет к нему такая – волос золотющий, глазища огромные... встанет себе и стоит... А с ней в еполетах, да в усицах, да в золоте... Много мы ихнего брата порубали... боже ты мой... ай-я-яй!..

Когда Гостев высказался, лицо его снова осунулось, прорезались морщины, надулись мешки под глазами, заострился нос и взгляд стал прежним – тусклым и безжизненным,

Больные привстали: действительно это говорил старик или им послышалось?

– Смотрите, смотрите, что с ним? – вдруг испуганно зашептал Гравшин.

Голова старика поникла, он всем телом подался вперед, будто что-то высматривая на полу. Так он долго раскачивался, пытаясь что-то поднять, потом еле слышно захрипел и головой вниз повалился с кровати. Подбежавший Гравшин едва успел его подхватить. Тотчас же вызвали врача, зажгли свет, забегали медсестры, но для старика уже всё было кончено. Платком, который он старался поднять с пола, ему вытерли рот, сняли с него пижаму и, накрыв белой простыней, вывезли в коридор.

А больные еще долго не могли успокоиться – и всё охали, завидовали его легкой смерти, удивлялись его терпению.

– Я ему все вены исколола, – каялась медсестра, – спрашиваю: не больно, а он мне: коли надо, можно потерпеть.

– И-и, что там, – вступил в разговор новенький, который, как оказалось, жил где-то поблизости от покойного. Христофор стал припоминать, будто люди говорили, что у Гостева жену разбил паралич. Это случилось давно, много лет назад, и старик не только не захотел отдать её в инвалидный дом, как «вразумляли» соседи, но сам, как за дитем, ухаживал за нею.

– Этой осенью, слышал, померла, – закончил Христофор свою историю.

– Деликатный человек, – согласились медсестры.

– Я и сам только вчера с поминок, ага, и прямо сюда, – вдруг радостно сообщил Христофор, – свояченицу хоронили. Народу наперло – тьма. Три стола сдвинули, закусок понаставили, выпивки всякой, хоть залейся, ага. Хорошо отпраздновали.

Наконец, погасили свет, закрыли дверь и больные, взглянув еще раз на опустевшее в углу палаты место, повздыхали, поворочались и заснули.

Не спал Митя Гравшин. Упираясь затылком в спинку кровати, он слушал, как ровно храпел в своем углу Кожин, как тяжело посапывал с нежным присвистом Опалов, как, хихикая, шептались у самой двери медсестры – и смотрел в окно.

На чистом, по-весеннему огромном небе мерцающей точкой горел красноватый Марс.

Если забыть и смотреть только в окно, то палата на время пропадала, отступая в темноту со всеми больничными звуками, и Митя чувствовал лишь, как несет ему прямо в лицо из незаклеенной рамы горчащей весной свежестью, и как шуршат в подмороженном снегу осыпавшиеся с деревьев сосульки.

«Что ж это такое? – спрашивал он себя. – Что это?»

– Ты чего, паренек? – услышал он, сквозь храп и тяжелое дыхание больных, чей-то сочувственный шепот.

И прикинулся спящим, чтобы не отвечать.

– Благодать какая! – узнал он изумленный голос Христофора, – Гляди-ка луна... вон она... ишь, как рассиялась... сподобился, значит, в такую ночь помереть. Оно и легче ему там прижиться будет.

«Легче – с раздражением подумал Гравшин. – Нет его и нет, а остальное ему без разницы».

– Я в уборную схожу, ага, – виновато улыбаясь, сообщил Христофор. – Я как старое здание – ремонтируешь его, ремонтируешь, а канализация ни к черту.

В коридоре было темно, но рядом с кроватью Гостева в высокую стеклянную дверь бил резкий лунный свет.

Кто-то, проходя мимо, из любопытства стянул с лица покойного край простыни: выбеленное луной, оно хранило прежнее выражение покоя и отрешенности и, казалось, было обращено туда, где виднелось сквозь синие стекла балкона ночное небо. Где он теперь? Ушел?... или навеки скрылся в себе?

Гравшин смотрел на красноватый уголек Марса, вспоминал старика, как тот сидел на белых простынях, сложив на коленях руки, как терпел утренний осмотр старательных студентов, как, отклоняя назад голову, вглядывался в окно, шевелил фиолетовыми губами и улыбался.

И кто знает, что он видел теперь там, один, за прикрытыми чьей-то рукой посинелыми веками...

Дальняя дорога

Автобус выезжал из города под вечер.

Весь день хлестал по дворам мокрыми простынями шквальный ветер. Голодными стаями набегали с запада на солнце рваные тучи. К вечеру восточная часть неба очистилась и мирно затухала, зато на западе, там, где исчезло за тучами солнце, всё набрякло, потемнело и тревожно засверкало предгрозовыми сполохами.

– Господи, пронеси, – перекрестилась в автобусе беленькая старушка, когда автобус, покружив по городу, выехал на открытое шоссе.

Еще какое-то время пассажиры тешили себя надеждой, что едут на восток, туда, где мирно угасало безоблачное небо, но шоссе вдруг резко вывернуло, распрямилось и уперлось асфальтированной дорогой в самое брюхо тучи. Стало ясно – не миновать грозы. По воле бесконечного шоссе они мчались в самое ее пекло.

Лица пассажиров осунулись, в неподвижности их взглядов ощущалась тревога.

Ехали молча, хотя дорога предстояла дальней.

– Господи, пронеси, – снова перекрестилась беленькая старушка, и каждый мысленно сделал тоже.

Остались позади пригородные постройки. Сразу за амбарами, из-за железнодорожного переезда, ослепительно сверкая белыми стенами, выдвинулся навстречу двухэтажный дом с заколоченными крест-накрест серо-сизыми ставнями. И эта белизна дома, и серная яркость туч на темном грозовом небе создавали жуткую, будоражащую нервы напряженность.

– Будто на суд Божий едем, – шепнула беленькая старушка соседке в туго повязанном черном платке.

Но та отмолчалась.

– Что поделаешь, – вздохнула беленькая старушка, – придет время и встанешь перед Ним, в чём мать родила – и держи ответ. Не что *там* в документах у тебя написано, а в *душе* что имеешь, и такое бывает, что не выпросишь у Него прощения.

Она замолчала и глубже вжалась в кресло.

Автобус мягко покачивался на скрипучих рессорах и каждая гаечка, каждый штырек голосили по-своему. Вдруг что-то глухо, будто удар литавры, лопалось в брюхе автобуса и зад кузова, с силой подбросив, шмякало о землю.

– Ох, ты, – вздыхала беленькая старушка, оглядываясь на выбоину в дороге, – ужели так можно.

Все беспокойно ерзали на сидениях, а стоящий в проходе паренек, прикованный к тяжелым сумкам, беспомощно стучался телом о прозрачную кабинку шофера.

– Садись, сынок, – подскочила на сухой удар грома беленькая старушка. – Садись, потеснимся.

– Кого сажаешь? – гаркнула соседка в черном платке, смерив парня с ног до головы недобрым взглядом, – молодой еще, постоит.

– Так у него сумки тяжелые...

– Ничего, подержит. Руки не отсохнут. Молодежь ноне совсем охамела. Как раньше было? В вагоне двадцать мест для детей и инвалидов выделяли, а теперь... Лезут молодые через переднюю дверь, спешат свой зад к сидению прирастить – и не сдвинешь. Вон они, глянь, ногами гуляют, людям спать не дают, а ты им потом место уступай.

На третьем сидении клевали носами двое молодых парней в ярких разрисованных майках.

– Устали они, – пожалела их беленькая старушка, – целый день работают, бегают, а мы и дома еще насидимся.

– Может, кто и насидится, – поджав губы, съехидничала старуха в черном.
– А что гуляют, пусть гуляют. Сами мы – не такие были? – поддержала беленькую старушку молодящаяся женщина.

Она сидела сразу за старухами рядом с девушкой в ярком макияже.

– Видать, как ты своего сына воспитываешь.

– А у меня нет детей, – вспыхнула женщина.

– А нет, и помолчи, – осадила её та, что была в черном.

– А чё молчать? – разволновалась беленькая старушка, – ты чё всем рот затыкаешь. Как не по-твоему, так тут же молчи. И не крути, не крути глазами и без того страшно. Чуть что, и давай стращать друг дружку, запужали уже до смерти.

– Их рази испужаешь, – проткнула парня взглядом старуха, – ни страха к тебе, ни уважения... ишь, стоит, смотрит.

– За что ж вы их так не любите? – вступилась за парня молодящаяся женщина. – За то, что они молодые, а мы нет?

– Мы молодыми по танцулькам не шастали, и брюк, как сейчас бабы носят, не носили. Стыд, срам, вырядится как мужик, а сама дура-дурой.

– От брюк, что ли, поглупели? – перебила старуху молодящаяся женщина.

– И от брюк, и от вихляния под музыку, и от этих джаков-роков, и от джипсов, патлы вон какие поотрачивали, скромности никакой, уважения к старшим никакого.

– А за что им вас уважать, если вы их не уважаете и понять не хотите? Нет, давайте *мы* их уважению поучим, чтоб они нас стариков сразу зауважали. Уважение не так зарабатывается, не языком.

– А то чем же, – донесся с заднего сидения стариковский голос, – только языком и можно сейчас прожить хорошо. А будешь надеяться на свой горб – тебе хана придёт. Так и надо воспитывать пионеров.

– Ты себе воспитай, – зыркнула в конец автобуса старуха в черном, – нализался в духотищу такую... Мне его уважения не надо. Я таких, как он, в бараний рог согну, много воли им дали. Ты проживи с моё.

– Ну и аргумент у вас, – возмутилась молодящаяся женщина, – черепаха, знаете ли, триста лет живет, значит, её больше всех уважать надо? Молодость свою вспомните. Её хотя бы уважайте.

– Правда, правда, чего там, – оживилась беленькая старушка, – на рынке цельный день стоять у них ноги не болят, а тут... Я вон как-то ехала в электричке, стоит девчужка, слабенькая такая, бледненькая. Никто ей места не уступит – «молодая еще, постоит». Она возьми и грохнись на пол. Слабые они у нас, чего говорить.

– Черта с два, – выругалась старуха и крикнула шоферу, чтобы он притормозил.

– Черта с два, – с угрозой кому-то повторила она и, бормоча проклятья, вышла из автобуса.

Ветер дунул ей в спину, облепляя черным платьем костлявую фигуру, и погнал старуху лугом по дорожке к деревеньке облепившей пригорок.

– Ну и ну, – удивленно сказала молодящаяся женщина, пересев на переднее сидение к беленькой старушке, – как так можно? Ведь для них и уже за их счет живем.

Автобус тряхнуло и замотало из стороны в сторону, будто его остервенело трепала, под рычание грома, невидимая собака.

– Грех это, грех, – согласно кивала ей беленькая старушка, – иди, сыночек, садись.

Парня оторвало от кабинки шофера и, помотав среди вещей, бросило на освободившееся место рядом с девушкой.

– А то всю жизнь шкодила, безобразничала, а старой стала – уважайте её, – не могла успокоиться старушка, – и ругаться тут нечего, грехи замаливать надо...

– Это точно, – с сочувствием вздохнули в автобусе.

Чем дальше отъезжали от города, тем сумрачней становилось вокруг. С еще большей скоростью, чем шел автобус, двигалась на них громада темно-синих туч. Воздух искрился каким-то зыбким неоновым светом. Блеснуло по смертельно побледневшим зеленым, и покатались из глубины тучи потрескивающие раскаты грома.

– Ух, будет гроза, – нервно сказал кто-то в автобусе, и все притихли.

Накрашенная девушка отвернулась от окна и чуть съехала по сидению. Завитыми локонами, розовыми мочками ушей и розовыми трепещущими ноздрями она напоминала собой хорошенькую ухоженную болонку.

Снова блеснуло в грозových сумерках и с нарастающим грохотом покатались на них с неба «пустые бочки».

– Я однажды попала в такую грозу, – залепетала молодящаяся женщина с напряженно вытянутым лицом, – думала, не доедем.

– У кого греха нет, тот доедет, – успокоила старушка.

– А у кого греха нет? – У всех что-то да есть. Вот мой, всю жизнь на глазах прожил, никого, кажется, не обидел, а под конец, как встанет с постели, всё под ноги себе смотрит. Я не поняла сначала, думала, упасть боится, а он таракана на полу высматривал, чтобы не раздавить случайно. «Живое существо, говорит, никто права не имеет его жизни лишать». Всё ему казалось бедненькому, что так и с ним могут.

И молодящаяся женщина заплакала, аккуратно придерживая пальцем слезу.

– Даже спать не мог, всё страшился ночью во сне клопа прижать, а их отродясь у нас не водилось. Такая с ним мұка была...

Старушка взглянула на неё и машинально перекрестилась.

– Ух ты... гремит как! – ойкнул кто-то со страха, и опять все замолкли.

Девушка прикорнула, съжившись на сидение. Её веки тяжело закрылись, подрагивая нежной розовой кожей, на которой можно было разглядеть тончайшую сеть бледно-голубых жилок.

– Ну и дорога, – вскрикнул кто-то у парня за спиной.

– Сами же себя мучаем, и нет никому дела, никто дорогу не починит, – подхватила беленькая старушка, – кажен год что-то копают, заливают, а всё то же.

– А что её заливать, – вступил в разговор шофер, – знаю я, как её клали. Прямо на грунт асфальт вывалют, а чтоб, скажем, гравию навозить, да песку насыпать – на это рук недостает. Ленё всё. Спешим куда-то. А теперь... сколько её ни ремонтуй – толку мало.

– Ох ты, господи, – тряхнуло старушку на новой колдобине.

– Я сам сюда гудрон возил. Нас с работы сняли и сюда бросили. Счас, буду я им тут надрываться, и заработок вполонину меньше.

– Так сам же теперь мучаешься, – удивилась молодящаяся женщина.

– А одно другого не касается. За это другая зарплата идет.

Чем дальше, тем чаще попадались на дороге рытвины. Участились и сухие грозových разряды. Туча, низко нависшая над землей черным вспученным брюхом, вбирала в себя еще ошутимый для глаз помертвелый свет.

Девушка безуспешно пыталась прикрыть короткой юбкой колени, подтянутые к животу заострившимися бугорками.

– Ужасно боюсь грозы, – призналась старушке молодящаяся женщина, – знала бы, ни за что не поехала б сегодня.

– Далеко едете? – спросила беленькая старушка.

– Нет. К мужниной родне еду... у меня месяц назад муж умер. Хочу кое-что им передать. Старуха сочувственно кивнула и перекрестилась.

– А с ним вышло такое... сама не знаю что, – пожаловалась ей молодящаяся женщина. – Жили мы хорошо. И уважали друг друга. Я бухгалтером работала, а он у нас главбухом. И, так случилось, мучился всю жизнь с сердцем. А потом – в момент и умер.

Она замолчала, вглядываясь в яркий серный свет, исходивший из нутра грозовой тучи, и вздохнула. В автобусе – повернули головы, прислушались.

– Обмыли его, приготовили одежду. Я как лучше хотела: решила обуть его в новые ботинки. Мы их вместе с ним купили, очень они ему понравились. Так и не надел их ни разу, жали они ему. С трудом их натянули мы, так и похоронили. Я и думать про это забыла. И тут по ночам стал мне сниться один и тот же сон. Будто приходит ко мне муж и страдальчески, бедненький, морщится, и всё просит передать ему другие ботинки, в которых он обычно ходил. Я ему киваю, обещаю, утром проснусь, меня в холодный пот бросает. Трясет – ничего не понимаю. И вот однажды не выдержала, спрашиваю его во сне: *как мне их тебе передать?* Он адрес назвал... и жалобно так на меня смотрит. Наутро проснулась, вспомнила всё и, что странно, адрес вспомнила. Настроение, конечно, ужасное, но чувствую – не могу больше, нет сил, спать совсем перестала. Думаю: будь, что будет – пойду. Завернула в газету ботинки, пришла, постучала в квартиру. Выходит ко мне женщина, вся заплаканная, в трауре. Я как увидела её, и не знаю что сказать; понимаю весь идиотизм моей просьбы, а уйти не могу. «Вы меня, извините, прошу ее, рада богу, но...» И рассказала ей всё. Та выслушала, взяла у меня сверток. Наверное, вид у меня был очень жалкий. «Хорошо, говорит, я положу их в гроб, у меня отец вчера умер». Потом я уже вспомнила, что видела это лицо. Она у нас в соседнем отделе работает. И что-то мне тоскливо так сделалось. Причем тут она? Зачем он ей передать их велел? Чертовщина какая-то! Но являться мне во сне с того дня он перестал.

Сухо треснул грозовой разряд. Женщина обернулась к окну и долго смотрела туда, где угрожающе желтело в скопище туч яркое серное пятно.

– Не надо мне было ходить к ней. Не дает мне покоя её лицо. Как вспомню мужа, так и её тут же вижу, и почему он этот адрес назвал? Только не смейтесь, а одна мысль ко мне в душу закралась...

– Господи, господи, помяни тамошнее, приberi остаточное, – кланяясь в пояс, перекрестилась старушка и чуть не ударилась головой о кабинку шофера – так резко затормозил вдруг автобус.

На дороге с красным семафором в руках стоял полноватый молодой человек.

– *Нечистая* его носит, – услышали пассажиры недовольный голос шофера.

Те, кто частенько ездил этой дорогой, узнали в полноватом человеке линейного ревизора.

В открывшуюся дверь вместе с ревизором вползли клубы серой дорожной пыли. Теперь не только шофер, но и все пассажиры мысленно повторили: «*Нечистая* его носит.»

Полноватый ревизор, очень моложавый на вид, повертел головой-коломком с двумя вихрастыми макушками на затылке и застенчиво улыбнулся. Всем своим обликом он напоминал десятиклассника-медалиста.

Пассажиры зашевелились, нащупывая в карманах проездные билеты, с опаской поглядывая на ревизора – а вдруг тот возьмет да и высадит и не посмотрит, что билет есть.

– Давно из отпуска, Вася? – виновато спросил он шофера, а его рука уже по-хозяйски выуживала из-под пачки «Беломора», съехавшей к ветровому стеклу, путевой лист.

Ревизор переступил через сумки парня и, придерживаясь за спинки сидений, двинулся по автобусу компостировать билеты.

– Стой, стой, – очнулся разбуженный старик, заглядывая в окно, – а куда мы едем?

– А тебе куда надо? – вплотную приблизился к нему ревизор.

– Ты что, не русский? – прищурился старик.

Ревизор замер.

- Ты это брось, – неуверенно сказал он и погрозил старику пальцем.
- Смотри, и я же виноват, – развел руками старик, – нешто трудно ответить.
- В Высокое мы едем, – ответил за ревизора мужчина в спортивном костюме. И тут же получил от жены удар локтем в бок.
- Тебе до всего есть дело, сиди и молчи, – процедила она, крепко удерживая одной рукой мужа, другой прижимая к себе мальчика лет шести.
- А мне Лазóревка, скажем, – задергался старик, – в Лазóревку я доеду?
- Давай билет. Куда в билете указано, туда и доедешь.
- Ты это, что же... Ты не должóн так. Ты мне правду обязан сказать. А не знаешь – молчи. А-то насоветуют – и бегаешь цельный день, высунувши язык. Задохся уже весь.
- Папаша, давай билет.
- Значит, доеду? Только правду. Ну, смотри, тихоня. Я сорок девять лет в профсоюзах, но... как оселок – один. Пьют, а я не пью. Ну, не могу. С души воротит. Ты, тихоня, пьешь? И пей, и не слушай, всё можно. Но, конечно, в меру. Я подсчитал. 2,5 разрешается от собственного веса. Значит, если весишь 90, то тебе полагается в день по 225 грамм, значит «чекушку». И это для печени не вредно. Как для сердца – не знаю. Но это уже, как врач, дорогуша, она знает. А чего не знает, у тебя спросит...
- Слушай, папаша, давай билетик, – нетерпеливо перебил его ревизор.
- Старик полез за билетом.
- А я не пью. Не желаю я пить, не желаю. И вот, как дурак, еду за медом. У меня старый друг, фронтовик, пасека у него в Лазóревке... я правильно еду? Ну, смотри. Я человек умный, понятливый. Жить не умею, и как оселок – один. Они меня знать не хотят, – ткнул он пальцем в проснувшихся ребят в цветастых майках, которые сидели позади девушки и парня, – они скалятся, а я всю войну прошел... я знаю почему что... Так доеду?
- Ревизор взял билет, который старик долго выковыривал из кармана, пробил его компостером и, не глядя, буркнул:
- Доедешь.
- От спасибо. Так что, пей на здоровье. А больница, что? Её не минуешь. Как говорят: туда не зарастет народная тропа. Э-э-э-х!
- Старик встал на ноги и двинулся, покачиваясь, по автобусу.
- Разрешите, товарищ ревизор, мне на выход. Перекур.
- Вернись на место, папаша, – тихо, но недружелюбно предупредил его тот.
- Тпррр, – строго придержал себя старик, завалившись по ходу движения на ревизора, и сдал назад. – Мы как все, – плюхнулся он на сидение, – э-эх, жисть наша. – Старик махнул рукой. – Хлебá налево, – запел он, – хлебá направо...
- Шофер Вася, на протяжении всей процедуры проверки билетов, ни разу не обернулся, всем своим видом презирая ревизора. А тот, закончив обход, примостился у ветрового стекла и, точно эквилибрист, балансируя всем телом, пытался что-то вписать в сложенный вчетверо путевой лист.
- Автобус притормозил, впустив в дверь облако пыли. Ревизор спрыгнул на дорогу.
- Ты вот что, – крикнул ему вдогонку Вася, – я буду назад ехать... так ты это... не останавливай больше, договорились?
- И тут он впервые посмотрел на ревизора.
- Ревизор молчал, изучающе разглядывая Васю.
- Так, не остановишь? – стараясь перекричать шум мотора, спросил у него шофер.
- Теперь заискивающие нотки слышались в голосе Васи, а ревизор был не по возрасту начальственно-покровительственным.
- Ладно, поезжай, – махнул он рукой.

Когда автобус отъехал на приличное расстояние, Вася взял двумя пальцами путевой лист и небрежно пробежал его глазами. По-видимому, запись удовлетворила его. Он швырнул листок на место и включил транзистор.

– Пронесло, спаси нас господи, – вздохнула беленькая старушка и спрятала проколотый компостером билет в платочек.

В автобусе задвигались, оживились. Разбуженные ревизором парни в цветастых майках, еще не совсем очнувшись от тяжелой дорожной дрёмы, полулёжа, лениво наблюдали за девушкой. Сама девушка, раскрасневшаяся, отдохнувшая, позевывая, тянулась всем телом, сцепив у колен маленькие кисти. Парень, стесненный сумками, вдыхал свежий запах её духов, и был не в состоянии даже представить её рядом с собой. Слишком долго ему пришлось бы для этого обнимать, гладить, сжимать её, целовать, вдыхать, чтобы поверить, что она не мираж, что она существует, что она из плоти и крови, такая же, как все, на которых ему и глядеть-то не хотелось – так реальны и понятны они ему были. Раз за разом, касаясь её плечом на очередном ухабе, парень всё ждал чего-то, затаив дыхание, но ничего не происходило.

– Я перерыла все его вещи, – шептала старушке молодящаяся женщина.

– И чего ты искала?

– Письмо или записку.

– Ну и что, нашла?

– Нет, – горестно качнула она головой, – но я найду.

В фиолетовых вспышках молний резко обесцвечивались зеленыя ржи, а в паузах между вспышками с сухим треском рвались над ними небеса.

– Господи, – перекрестилась старушка, – и зачем?

– Обидно мне, – вздыхала женщина, – ох, как обидно.

И она полезла в сумочку за платком.

Автобус заунывно выл, выбираясь из одной ямы и вползая в другую. Часть пассажиров дремала, укачиваемая как в колыбели. И парню казалось, что и он тоже уснул, и сквозь шум и вой мотора и какие-то нелепые видения и мысли – видит её прилегшей невдалеке и манившей к себе. Неясный силуэт ее тела расплывался в воображении, но глаза её были рядом. Он видел, что она настойчиво звала его, но не двигался с места. Её холодные колени, едва коснувшись, уткнулись в него, а она всё манила, опутывая его собой и парализуя, и он замирал от её перемежающихся холодных и теплых прикосновений, будто летел в прохладно-теплую пропасть. Голова кружилась, парень открывал глаза, и всё исчезало. Но оставалась *она*, на неё было страшно взглянуть, и он опять их закрывал, чтобы снова увидеть: как она манит к себе, как дрожат её колени...

Девушка давно обратила на парня внимание и украдкой разглядывала его хмурое загорелое лицо с редкой щетинкой полудетских усиков. Оно было напряжено, и казалось ей слепым, когда он закрывал глаза.

Съехав с большака на грунтовую дорогу, автобус подвалил к небольшой деревушке с двумя десятками домов, автостанцией и магазином на площади.

– Пять минут перекур, – объявил Вася и, захлопнув кабину, исчез в магазине.

Пассажиры задвигались, потянулись из автобуса: постоять, покурить, сбежать за угол. Ни девушка, ни парень не двинулись с места. Он укрывал рукой сумки, о которые спотыкались проходившие к выходу пассажиры, и то и дело оглаживал их, будто успокаивая. А девушка смотрела в окно.

– Лялька, ой! – пискнула в дверях автобуса высокая девица. – Домой, отучилась? А я уже неделю как дома.

Лялька обрадовалась подруге, но осталась на месте, вскользь зацепив взглядом покрасневшего до ушей парня.

– Ой, а ты ничего смотришься, – ревниво оглядела Ляльку подруга.
– Теперь приходится рано вставать и краситься, – не без самодовольства пожаловалась Лялька.

– А мне в техникуме один парень предложение сделал, – перебила её подружка.

– Ну, а ты?

– Да ты что, – довольная произведенным на Ляльку впечатлением, затрещала подружка, – кому он нужен, балбес. Стану я из-за кого-то свою жизнь ломать.

Нет-нет, мальчиков ей пока не нужно.

– Ой, чуть не забыла, – подавшись к подружке, ткнула Лялька коленями парня, – я у мамы увидела книгу «О вкусной и здоровой пище», и выпросила. Когда выйду замуж, пригодится. Приедешь, покажу. Мама еще обещала достать мне книгу «Как вести хозяйство». Там про все-все: и как пятна выводить, и как стирать, и как вязать, и общая гигиена. Это так интересно! – одним духом выпалила она.

Не выдержав острых коленок Ляльки, парень встал, уступив место её подружке. Теперь они болтали тише, на ушко.

– Я тебе советую выбрать Сережку, – рассудительно поучала Лялька, искоса поглядывая на переминавшегося с ноги на ногу парня. – Он мне даже нравился когда-то.

– Кого захочу, того и выберу. Я девушка вольная.

Оказывается, она уже назначила Сережке свидание, а теперь передумала, и едет домой: очень много он о себе мнит.

– Пусть себе парится, – хихикали девушки.

Уже перед самым отправлением влез в автобус седовласый мужчина в измятом костюме.

– Товарищи, милые извините меня, никогда не просил. Ребеночек у меня... со вчерашнего дня не ел. Все деньги вытащили. Пожалуйста, чем сможете, хоть на хлеб ребеночку, помогите.

Глаза у него слезились, рука была в ссадинах, и весь он согнулся от скорби.

Молодящаяся женщина, рыхлая и усталая, сокрушенно вздохнула:

– Мы понимаем.

Она недоверчиво оглядела мужчину, который, обойдя пассажиров и не получив ничего, причитал уже у нее за спиной.

– Ребеночек с утра не ел. Все деньги как одну копеечку...

– Вы знаете... – потянулась к сумочке молодящаяся женщина, – я дам вам денег, но вы... простите, всё равно я вам не верю. Вы, кажется, выпивши.

– Ребеночек с утра не ел.

– Да я вам дам денег. – Она открыла сумочку и стала в ней рыться. – Берите, только не верится. Выпивши вы. Наверное, на водку собираете?

Он торопливо вылез из автобуса и, перейдя дорогу, скрылся в сельпо, где его поджидали дружки.

Молодящаяся женщина заулыбалась, покрываясь красными пятнами.

– Знала я, конечно, знала, – убеждала она себя и остальных, – но если не верить, как тогда жить? А вдруг человеку нужно.

– А то, если б не нужно, пили бы? – возмутились парни в цветастых майках.

«Эх, с вином родились мы,
с вином и умрем,
с вином похоронят,
но и с пьяным попом...»

Пропел старик тонким бабьим голоском, который, утончаясь на верхах, вдруг дал петуха и замолк.

– А один... мне какие-то фотокарточки сувал, – призналась беленькая старушка, – да еще стучит по плечу, будто немой. Пожалела его и купила. А он осклабился мне прямо в лицо: «Премного благодарствуем». А сам, наверное, подумал: дураков на мой век хватит.

– А нечего им потакать, – вмешалась в разговор женщина в спортивном костюме и в мужской соломенной шляпе, – авось с голоду не помрут.

Она цепко держала за руки мужа и сына, враждебно поглядывая на старика, который всё приставал к мальчугану с расспросами и клялся ему, что он не старик, а «крокодил Гена».

– Ну, как, скажите, жить, если не верить? – не могла успокоиться молодящаяся женщина. – Что ж нам, в каждом мужчине видеть жулика или пройдоху?

– А они такие и есть. Сколько волка ни корми.

– Опять вы за своё, – устало вздохнула молодящаяся женщина.

– *Волк* ты, а не крокодил Гена, – радостно подхватил слова матери, разыгравшийся со стариком мальчуган.

– Какой же я волк, у меня и зубов нету, – протестовал старик.

– А ты беззубый волк, – смеялся в восторге мальчик.

– Ах ты, Чебурашка.

И действительно – не толстый и не тонкий, а какой-то округлый, в зеленых вельветовых туфлях – мальчик и в самом деле был похож на Чебурашку.

– Сиди, не вертись, – одернула его мать.

– У-у-у, – наклонив голову, тряс ею старик.

– Ой, отстаньте вы от него, – взмолилась, наконец, мать, прикрывая собой малыша, – и чего привязались.

– А ты не шуми, не с тобой разговариваю, – обиделся старик, – вот он... у тебя парень хороший, толковый, с ним и покалякать интересно, правда, Чебурашка?

– Правда! – в восторге кричал малыш.

– У меня внучок такой же. Помирай, говорит, дедушка, скорее, а я кровать твою бабе своей заберу, когда женюсь. А пять годков только! Соображает.

«Эх, была бы денежки,
будут и девушки...»

– Прекратите немедленно, – вдруг вспылил отец мальчика, – здесь дети, женщины.

Автобус, чмыхнув, поковылял дальше. Старик завалился назад и, обиженно кутаясь в темное потертое на рукавах пальтецо, замолчал.

– Был у меня один законный, – вполголоса сообщила своей соседке беленькая старушка, – умер, а потом пошли мужики, да рази это мужики – халтурщики.

– Обидно, понимаете, мне обидно, так хорошо жили. А теперь... будто камень кто на душу положил. Ушел он и всё *наше* с собой унес, а мне свои пакости оставил.

– Ну, не убивайся так. Может, ничего и не было.

– А как теперь узнаешь – было или не было. У кого спросить? Умер, а ты живи, как хочешь. Ой, как обидно, ой, как обидно.

Слёзы приливали к её глазам, покрасневшим и выразившим животную тоску по той жизни, что ушла, от бессилия вернуть всё назад или хотя бы рассчитаться за прошлое.

– Мне от него ничего не надо. Вот собрала его вещи и везу всё его родственникам. Видеть ничего не могу. Поверите, и подарки его пусть забирают.

– Может, мерещится тебе всё? – успокаивала ее старушка.

– Нет, – отрицательно качала она головой, – чую, понимаете, сердцем чую. Дура была, верила. А как не верить, как?

Смеркалось. Где-то там, в серой толще облаков, уходило за горизонт солнце. Никто не мог этого видеть, но и без того скорбное сиротство вокруг приобретало оттенок полной безысходности. Пассажиры освоились, приноровились к тряске и мирно шушукались между собой. Однообразный дорожный покой нарушали только голубые вспышки молний да раскаты грома.

– Помнишь, там еще были цыгане, – без умолку трещала подружка Ляльки, – ночью, играли у костра? ну, не цыгане... нет, не цыгане, один мужчина был похож на цыгана. Вот это был мужчина. Какие ручищи, помнишь? Мурашки по коже.

Подвижное и смазливое лицо подружки сияло. Было в ней что-то легкомысленное и глуповатое – и в том, как она фыркала, косясь глазами на парня, который в поисках равновесия беспомощно изгибался в проходе, и в том, как бойко отвечала на приставания ребят, быстро уловивших, что к чему, и, без церемоний, искавших с нею знакомства. «Иди к нам», – улыбаясь, хватал её сзади курчавый, а она била его по рукам и хихикала.

– Мне уже выходить, – привстала подружка Ляльки, крикнув шоферу, чтобы тот притормозил. – Значит, до завтра.

– Если ты не приедешь в шесть, я тебя завивать не буду, – спокойно, но категорично заявила Лялька.

– Я постараюсь, – махнула ей на прощание подружка, – а минут двадцать мне всё-таки надо с ним поболтать.

Она выскочила из автобуса и свернула в переулок, где её ждал невысокий белобрысый парень.

– Ой, Сережка! – вскрикнула Лялька, прижавшись к стеклу и, не отрываясь, смотрела, пока они не исчезли из виду.

– Это Сережка, – повторила она: не то для себя, не то для парня, отвернувшись от окна. – Ничего в нем особенного нет. Так... ходил когда-то за мной.

Лялька вся подобралась, как бы этим приглашая парня сесть рядом. Он потоптался и сел. Но что-то уже изменилось для него, – не в нем, чувствовал он, и не вокруг, – в Ляльке. Теперь у неё было имя, было прошлое, этот Сережка. «Так... ходил за мной», – вспомнил он, и какая-то горечь послышалась ему в этих словах.

Деревушка, через которую ковылял автобус, была безлюдной: ни курицы, ни собаки, точно всё вымерло. Даже ставни на окнах, украшенные затейливым резным орнаментом, напоминавшим кружево на гробах, были наглухо закрыты.

Мелькнул перечеркнутый дорожный знак с названием деревни «Белогурская пустошь» – означавший, что деревня кончилась.

– Лучше б мне с ним помереть, – не слушая, твердила своё молодящаяся женщина, – закрыть глаза и...

– Грех тебе, грех такое думать, – урезонивала её старушка, – и не в ней, смерти, спасение. Ты еще человека себе найдешь.

– Да будет вам. Не по летам уже.

– Не скажи, и не такое в жизни случается. Моя тетя Оля, царствие ей небесное, девкой померла. Кажись, кончилась жизнь, ан нет... – беленькая старушка перевязала платочек у горла и продолжала:

– И такая с ней история приключилась. Как слабеть она стала, позвала меня и говорит: «Худо мне, доченька, об одном тебя прошу, – смотрит на меня, а в глазах слёзы, – когда это случится, шей, Машенька, мне платье сама. Ты добрая, ласковая, и платье у тебя выйдет мягкое, удобное, без швов и складок». Клаву, мою сестру, она не очень любила. Больно та была остра на язык, нетерпелива, горячая, всё делала быстро, но как попало. Дома у неё всю жисть дым коромыслом: то у неё пуговицы на пальто нет, то исподнее торчит из-под юбки. К чему я тебе про тетю Олю рассказываю – сейчас поймешь... Всю жисть прожила наша тетка старой

девой, так и не нашла себе пару, померла одна-одинешенька. Сшила я тете нарядное платье и вместе с Клавой пошли мы в больницу забирать нашу тетку. Вышел к нам из морга такой благостный мужчина. На нем белый халат, надетый прямо на голое тело, и в тапках на босу ногу. Бригада, вишь, у них ночью работала, совсем запарились. «Сколько? – спрашиваю. – «Штуку сейчас, штуку потом». Наутро он опять в дверях, грудь халатиком прикрыл, заспанный. «Пожалуйста, – зовет нас в морг, – примите в наилучшем виде, как живая, останетесь довольны». И сам всплакнул с нами за кумпанию. Мы ему и за сочувствие «штуку». Вошли. А я страсть как боюсь покойников. Гляжу: лежит моя тётя Оля тихая, нарядная, но только чтой-то не очень на себя похожая. «Маша, – дергает меня за рукав Клава, – гляди, тетка-то не наша». Я и сама сразу заметила подмену, но никак до меня не доходит, что такое возможно. Да и темно там было. Ну, а когда и Клава углядела, я заметалась и к нему. А он и слушать нас не хочет: ничего, мол, не знаем, что у нас было, то мы вам и отдаем. Потом, всё-таки опомнился, греховодник. «Может, говорит, старик из Остюженки, деревня тут по соседству, забрал заместо своей бабы». Узнали мы его адрес, поставили на телегу гроб и прямехенько к нему. Гоним лошадей изо всей мочи, дрожим. Пуще всего боялись – зароет дед гроб с нашей тетей и проститься с нею не даст. Слава богу, поспели. Застали мы деда совсем пьяненького, плачет, и гроб с ним – раскрытый, а крышка в дверях. Лежит наша тетя такая несчастная, одинокая... Так сердце у нас и сжалось от тоски. Поплакали мы, и давай объяснять деду наше затруднение, давай его уговаривать отдать нам тетю Олю. А дед вцепился в гроб и ни в какую: «Моя, – говорит, – не отдам». Мы ему давай объяснять: *ваши* мы привезли. Не отдает. Не хочет. Полюбилась ему наша тетя Оля. «Я её, говорит, сам схороню. Хоть на могилку к ней приду, поклонюся. Хорошая была?» – спрашивает. Говорим: хорошая. «А та, – на свою показывает, – жизнь мою угробила». И не отдает нам тетку. Мы в слёзы, и так и эдак его упрашиваем, я за бутылкой сбегала, и помянули их обеих. Что ж ты, говорим, на старости лет греховодник делаешь. Ты с нею жисть прожил, а теперь отрекаешься? А она у тебя, говорим, красавица была. Открыли мы для сравнения гроб, что с собой привезли. Поглядел он, как её вырядили в моё платье, фату приподнял: «Нет, говорит, никогда она такой не была, вжисть». Вздохнул, бедный. Еле отдал нам тетку.

– Что ж он, влюбился в неё? – хихикнул кто-то из пассажиров.

– Значит так, – невозмутимо решила беленькая старушка.

– Тьфу ты, – сплюнул тот же голос, – сон рябой кобылы.

Но беленькая старушка и головы в его сторону не повернула, спокойно продолжала рассказ:

– А вернулись мы в райцентр, ей Клава на скорую руку новое платье сшила. Обрядили мы в него тетю Олю, а я Клаве и говорю: «А ведь чувствовала она, сердечная, перед смертью, что придется ей в Царствии Божьем в твоём платье щеголять». Вот так нашла себе тетя кавалера. А ты жисть с человеком прожила, и хорошо прожила, говоришь. Чего ж тут думать, чего убиваться? И кто знает, гульнем еще на твоей свадьбе.

– Обидно мне, поймите, как вспомню, что в одной постели бок о бок, а в мыслях у него другая.

– Ну, ты рехнулась. Война прошла, мужика не убило, не пил, не бил. Грех, тебе, грех.

– А хоть бы и вообще его не было. Не снять мне теперь этого камня с души – ни высказать ему не могу, ни бросить его, а всё было бы легче.

Автобус покачивался, как пьяный, пружиня на скрипучих рессорах и чиркая задом о разбитую дорогу. Гроза надвигалась с ужасающей медлительностью – всё только угрожая и обещая что-то. Но все уже свыклись с её приближением и с чувством страха перед нею – и негромко вели бесхитростную, ни к чему не обязывающую дорожную беседу.

– А у нас по курсовой... у-у, зверь был... по пять раз заставлял нас, девочек, переделывать.

Парень вцепился в сидение, чтоб случайно на ухабе не толкнуть плечом Ляльку. Она не казалась ему больше призраком или видением, бесплотным и зыбким, он даже почувствовал желание коснуться ее рукой.

– А ты, где живешь? – спросил он.

– Этого ты не узнаешь, никогда.

– А как же я тебя найду, где?

– В училище, осенью. Придешь?

– Приду.

В салоне было душно. Сладковатый запах плоти мешался с дорожной пылью. Капризничал на заднем сидении мальчик. Шушукались за спиной протрезвевшие парни. Автобус выль, сотрясаясь от напряжения. Колени девушки, подрагивая, стукались одно о другое, всё глубже втягивая подол зажатой между ними желтой юбки, и парню казалось, что он ощущает, как они трутся между собой прохладной гладкой кожей.

– Видел... видел...

Ребята напирали сзади и, толкаясь, поочередно вытягивали головы из-за спины парня.

– Ух, ты! совсем ничего, – потрясенно шептал курчавый, глядя на вздымающуюся у девушки на груди блузку.

– Эй, как тебя зовут? – постучал по спинке сидения приятель курчавого.

– Она что, глухонемая? – громко, чтобы девушка слышала, спросил курчавый.

– А ты проверь.

– Счас.

– Ой, – вскрикнула Лялька, подскочив на сидении.

– Нет, вроде не немая, – удовлетворенно отметил белесый.

Лялька угрожающе повернулась.

– Убери руки, – сквозь зубы тихо сказала она.

– А тебя как зовут?

– Она не знает, – объяснил приятелю курчавый.

– А я хиромант, могу отгадать по руке, – он опять потянулся к Ляльке.

Парень снял с колен сумку и обернулся.

– А ты чего уставился, – взмахнул рукой белесый перед лицом парня, чуть не задев его нос кончиками пальцев. – Исчезни.

В автобусе примолкли, напряженно глядя на ребят, не решаясь вмешаться. Каждый боялся нарваться да грубость, из-за которой придется, не дай бог, ввязаться в драку.

– Ребятки, вы бы вели себя тише, – попробовала усовестить их старушка.

– Ты чё? – сразу же набросились они на неё, задергавшись, как паяцы, дурачась и притворно пугаясь.

– Ну, что горлопанишь, ишь какой горластый, – всё надеялась она их утихомирить.

– Да ты чё, – завертели головами ребята, не прекращая балаганить, – мы ж ничего, мы ж так... или чё?

Никто на них не смотрел, их взглядов избегали, не желая показать соседу свою робость перед ними.

– Оставьте девушку! – вдруг подал свой голос муж женщины в спортивном костюме. – А то я...

– А ты кто такой? – обернулись к нему ребята, – ревизор или мусор?

– Сиди, – грубо одернула мужа женщина в спортивном костюме, – не видишь, они пьяные.

– Кто пьяный, кто пьяный? – кипятились ребята.

Автобус, кренясь, катился вниз под горку к вспучившейся речке.

– Ой, глядите! – вскрикнула молодящаяся женщина, – глядите, что делается!

За белой стеной монастыря, по ту сторону реки, стояло багровое зарево. Оно яростно захватывало собой пасмурное небо, обжигая тяжелые черные тучи, разгораясь и тускнея на глазах, будто раскаленные угли в прогоревшей печи, и стремительно несло на них из-за реки. В кровавом разрыве, насквозь пробившем свинцовую облачность, вдруг показалось синее-синее небо, по которому, застилая его густыми черными дымами, бежали и бежали низкие рваные тучи.

– Выходите, – крикнул из кабинки шофер, когда автобус, съехав к реке, остановился у парома.

Гуськом, один за другим, двинулись к выходу пассажиры, натягивая на себя куртки, плащи, вязаные кофты, и зябко поеживаясь. Перед ними, подернутая мелкой рябью, пучилась мутная река.

Худой парень, с тяжелыми сумками в руках, молча продвигался в толпе пассажиров, заслонив собой Ляльку. Теперь и она жалась к нему.

Неподалеку желтело на косогоре свежим тесом «Сельпо». На противоположном берегу, низком и песчаном, утыканном редкими зарослями кустарника, мужик поил лошадь.

Втянув головы в плечи, пассажиры робко ступали по шаткому мостику, переходя на паром, где их встречал резкий сырой ветер.

– Лялька, – раздался злой мужской окрик.

Парень поднял голову. Посмотрел на поившего лошадь мужика, потом на ребят.

– Ой, Миша, – обернулась на голос Лялька, – да как ты узнал?

От «Сельпо», отделившись от группы механизаторов, шел мужчина, лет тридцати, в спецовке и в сапогах.

– Узнал и узнал, – с угрозой пробурчал он. – А этот... – он указал на парня, – ...с тобой? Лялька хотела, но не успела ничего сказать.

– Опять? – и он с ходу, не останавливаясь, ударил Ляльку.

– Ой-ой-ой-ой... – схватившись за голову, заголосила она.

– Не надо! – испугано крикнул худой парень, – не трогайте ее!

– Что?! – обернулся к нему мужчина. – Ну, ты... шагай отсюда.

– Значит мало тебе, – опять двинулся он к Ляльке, – одного мало? Ах, ты!.. – и он снова наотмашь ударил её по лицу.

– Что вы делаете? – заволновались пассажиры, перейдя по шаткому мостику на паром и уже оттуда наблюдая за назревавшей дракой.

– Я же сказал вам: не трогать её! – сжав кулаки, в исступлении крикнул парень.

– Пошел отсюда, малец, – угрюмо бросил тот и, не глядя, ударял его в живот.

Ослепительно блеснула молния, с треском распоров над головой пространство. Раздался женский крик. Парень, растеряв сумки, был сбит у парома с ног. Двое ребят в цветастых майках в упоении били его ногами, не разбираясь, куда бьют. Били торопливо, но хладнокровно, как будто делали важное дело, которое во что бы то ни стало надо выполнить – в срок и хорошо. Пару раз они попали ему ногой в живот, отчего внутри у парня что-то рыгнуло и чавкнуло, будто вытащили из вязкой глины сапог. Но он не стонал, принимая удары, только жмурился, защищая голову руками.

– Мужчины! Что же вы смотрите! – металась по парому молодая женщина, – разнимите их!

– Куда? Назад! Не пушу! – вцепилась в мужа женщина в спортивном костюме. – Убьют тебя... не пушу!

Охватившее небо грозное пожарище разрасталось. Вдруг поднялся резкий ураганный ветер – забили у «Сельпо» плакаты, сорвало и понесло к автобусу киноафишу, крупной рябью смяло свинцовую гладь реки.

Пассажиры шарахнулись на пароме к служебному домику, забыв о драке, едва удерживая на себе плащи и головные уборы.

Последним вывалился из автобуса заспанный старик. Заметив, что кого-то бьют, он ошеломленно вытаращил глаза.

– Не так, – вступился он за парня, – не по правилам, трое на одного, – и сам полез в драку, чтобы научить, как это надо делать по всем правилам.

– Все на одного, – расталкивая их, причитал старик, – рази так можно? не по правилам.

– Кто он тебе? – запыхавшись, спросили ребята у мужчины в спецовке.

Тот глянул на парня, возле которого суетился дед, и покачал головой.

– Сам вижу в первый раз.

– А она?

– Жена... черт бы её побрал.

И он погрозил ей кулаком.

– Ну, вставай, хватит валяться, – примирительно бросил он парню. – И не лезь туда, где тебя не ждут.

Парень поднялся, собрал вывалившиеся из сумок свертки, утер на лице кровь, и снова увидел Ляльку: виноватую, жалкую, совсем некрасивую.

– Что, жаль дружка? – спросил у неё муж. – Дрянь.

– Не трогайте ее, – с трудом выдавил из себя парень.

– Чего? Видать – мало тебе? – и он шагнул к парню. Тот, загоразиваемый дедом, подался назад.

– Рази так можно? – петушился дед, – трое на одного.

– Ты вроде нездешний? – спросил у парня мужчина. – Где познакомилась, в автобусе?

Парень кивнул.

– В другой раз спрашивай у ней паспорт, если вывеску портить себе не хочешь. Ну, ты, заглохни! – прикрикнул он на Ляльку.

И все пятеро, вместе с дедом, перешли на паром.

Автобус осторожно, как слон, ощупал колесами перекинутый с берега мостик и, тяжело стукнувшись днищем кузова, въехал на паром.

Что-то затрещало, дернулось, натянулся стальной трос – и паром медленно отвалил от берега.

В тесной комнатухе, заваленной всяким хламом паромщиков, стало жарко. Пассажиры сбились кучей, как напуганные лошади, вытянув шеи и тревожно поводя из стороны в сторону головами.

С криком носились по парому ребята.

Издали, от излучины реки, сплошной стеной воды шел на них ливень. Было видно, как пеной вскипала под ним река, поднимаемая бешеным напором обрушившейся с неба воды, и исчезала там, где дождь, настигнув, поглощал её.

В приоткрытую дверь, протолкнув вперед парня с сумками, влез, запыхавшись, старик.

– Да, куда ты, господи, с сумками-то!

– О-оой! мамочки, – всполошилась вдруг женщина в спортивном костюме. – Сумка-то моя, где? Пропала!

Она отпихнула от себя мужа и, вцепившись в малыша, принялась вертеть его в разные стороны, охая и причитая.

– Он держал сумку, где она?

Малыш испуганно захныкал.

– Ты куда ее бросил, взвизгнув, вдруг влепила она ему подзатыльник.

– Стой! – бросив парня, рванулся к ней сквозь толпу дед. – Нельзя... не позволю... дитё не позволю!

– Граждане, красную сумку не видели? – расталкивала она толпу женщина.

– Где, ирод, сумка, где?

Она опять схватила мальчика за плечи и стала его трясти.

– Оставь ребенка, – вырвал у нее малыша муж, – сбесилась?

– Не трожь меня, – побагровела женщина, – да я, знаешь, что из тебя сделаю, антрекотина!.. А ты куда лезешь, шут старый, – всей пятерней уперлась она старику в грудь.

– Рази я лезу, – возмутился старик. – Пусть я нахал, подлец, забирай... а дитя бить не дам!

– Да вон она сумка, – крикнул кто-то из пассажиров, – висит через плечо.

Женщина нащупала у себя за спиной сумку, и залилась краской.

– О господи, – перекрестилась в толпе беленькая старушка.

Короткой вспышкой блеснула молния, следом за ней, будто оружейный залп, обрушился на них мощный раскат грома.

– Господи, прости и помилуй.

Со стороны настигавшего паром дождя все мешалось в единую массу бурлящей воды – и река, и берег, и небо. Первыми, прощупывая дорогу, ударялись в еще лениво-покойную, оцепенелую гладь воды крупные капли, изрешетив речку фонтанчиками брызг, а секунду спустя это место уже кипело, пенясь и бушуя, под стремительным напором ливня.

– Ой, господи, – всё крестилась беленькая старушка.

Люди с застылыми лицами наблюдали, как движущийся прямо на них шквал воды настиг паром, шрапнелью свинцовых капель в упор расстрелял его и, насытившись, ушел дальше по реке, всё затопляя на своем пути.

Пахнуло свежесмытыми досками, потемнело.

Семья, сцепившись руками, неподвижно стояла, прижатая толпой к стене, будто окаменела. Только мальчик еще судорожно всхлипывал.

– Рази можно дитё, не дам, – бормотал старик, толкаясь среди молчаливо сгрудившихся пассажиров, и его голос заглушал доносившиеся от стены глубокие детские всхлипывания.

Вскоре ветер утих. Но вся северная половина неба еще долго оставалась темной и грозовой и по-прежнему огненно горела, будто шел там красный дождь.

Ливень скоро утихомирился и, ровно стуча по крыше автобуса, слезился на окнах жидкими струйками. Со скрипом металась туда-сюда «дворники». Шипел, потрескивая, в кабинке шофера приемник. Вася включил свет, сумерки тут же вплотную приблизились к автобусу.

– Ольга больна. А что у неё может две недели болеть? Бронхит? – удивлялась Лялька, поглядывая снизу-вверх на мужа. И рассмеялась: – По-моему, у неё воспаление хитрости... а мне скучно на лекциях без неё. Я и уехала пораньше.

– Ты лучше меня не доводи. Слышь, что говорю, убью сука, – тихо ответил ей муж.

Он сидел рядом с Лялькой, на месте худого парня, который опять стоя качался посреди автобуса.

– Не было у меня никого, хоть у него спроси, – оправдывалась Лялька, кивая на парня, и примирительно шептала, прижавшись к мужу: – А если б и было, не понимаю, убудет меня от этого, что ли? Что я кривою стану? И что тут такого?

– А то! – хмуро проговорил муж. – И не дай тебе бог еще раз на глаза мне с кем-нибудь попасться.

Дождь не кончался. Меркло тусклое красноватое небо, и чем больше оно меркло, тем ярче желтела Лялькина юбка в сизо-лиловом свете тусклого студеного вечера.

– И вот, что я думаю, про себе гадаючи, – нашептывала молодящейся женщине беленькая старушка, – жисть прошла, а я и не жила вроде. То одно, то другое, третье – и за всё испереживаешься, и за все сердце болит, а глядь – жисть прошла...

– Не буду я им подарки его отдавать, – в раздумье проговорила молодящаяся женщина, – жалко: кольца, сережки... жалко. Может, я еще замуж выйду.

– Неужели не выйдешь, и дай-то бог, – обрадовалась беленькая старушка, – так-то лучше.

Автобус выкатился на шоссе. Шофер выключил в салоне свет. За исключением ребят, выпивших на пароме пива и теперь мирно похрапывавших, никто не дремал, даже старик. Разложив на коленях бумагу, он аппетитно жевал розовые кружки тонко нарезанной колбасы, и, время от времени отрываясь от еды, подмигивал малышу.

– Чебурашка, – звал он его, не замечая неприязненного взгляда женщины в спортивном костюме, которая опять восседала в центре семейства, крепко держа их за руки, – на, ешь.

Мальчик тянул ручку. Его слегка шлепали по ней, чтобы он не брал колбасу, но малыш упрямылся, хныкал, и всё-таки хватал лакомый розовый кружочек.

– Ешь, Чебурашка, ешь, – улыбался старик.

Полыхнула в полнеба молния, прокатился тяжелым грохотом дальний гром. Из тьмы – хлестнул в окна дождем порыв ветра. В автобусе замолчали, прислушались.

– Спаси нас, Господи, и помилуй, – прошептала старушка.

– Шпаси нас, Гошподи, – дразнясь, пролепетал ей в тон малыш.

– Ты что болтаешь, не вертись, – одернула его мать.

– Гражданка, – подал свой голос отец мальчика, – прекратите религиозную пропаганду. Надоело, черт побери, тут же дети.

– А чертыхаться разве хорошо? – укоризненно покачала головой старушка.

– А Господа поминать после каждого слова?

– Так рази верить у нас запрещено? – вступился за неё старик.

– Ты демагогию не разводи, – обернулся к нему отец малыша, – верь, если хочешь, в тряпку и помалкивай, а людей не смущай, тут дети есть.

– Да посадить их надо, – пошутил кто-то в автобусе.

– И посадим... на кой нам такой балласт.

– Сядь, – оборвала его жена, – без тебя управятся.

– Как это, балласт? – растерянно огляделся дед. – Я сорок шесть лет в профсоюзах состою. Всю войну партизанил, копейки государственной не взял.

– А то, кто ж ты? Лодырь и пьянчуга, – отозвалась женщина в спортивном костюме, – за мёдом он едет. По чужим погребам ты партизанил.

– Это за что ж ты мене обижаешь?

– Не верю тебе, – выкрикнула женщина, – никому не верю! Потому что знаю: только и смотри, чтоб не обобрали, не обсчитали, не пролезли без очереди... А ты не встрейвай, – снова придержала она мужа, – чего с ним разговаривать, а то не видишь, что за птица?

– Дак это... что ты за птица такая диковинная, – изумилась старушка, – в бога не веришь, ладно, людям не веришь, мужу не веришь, мальцу своему не веришь...

– Мне чужого не надо, а моё отдай.

– Ить вишь, – взмахнул руками старик, – отдай ей кусок в порядке обчей очереди, она и обзывать не будет.

– Битие определяет сознание, – пошутил кто-то в автобусе.

– Была у нас в доме Библия, да ишо сказки Пушкина до дыр зачитаны... по этим сказкам мы, детками, читать и писать учились...

– А иди ты... со своими сказками! – зевнула женщина в спортивном костюме; и тут же, глядя на неё, зевнул её мальчик, а следом за ним муж – и они долго зевали, заражаясь один от другого, пока сморенные дорогой не стала засыпать.

– А я вёлю, – заговорщически шептал старику малыш, поглядывая на спящих родителей.

– Ты человек, – тоже шепотом, отвечал ему старик, – Чебурашка.

Впереди, где-то очень далеко, сверкнули из темноты два лучистых глаза. Это шла навстречу машина. Горящие острые точки пересекались на ветровом стекле, вращаясь по оси двумя тонкими, идеально-ровными полосками, которые нервно дрожали как магнитные стрелки.

Мираж. В ярких сполохах зарницы – желтея, кружили за окнами пески, выростали на пути руины скалистых гор, где-то шумело невидимое море – мираж.

В автобусе шептались между собой старушка и молодящаяся женщина. Спала у мужа на плече Лялька. Маялся в проходе худой паренек. Фары встречных машин, ослепив ветровое стекло, прочесывали ярким светом салон автобуса.

У самой двери, рядом с кабинкой шофера, парень заметил девушку. Румяное лицо, раскосые голубые глаза и родинка на верхней губе. Забыв о ноющем теле и ссадинах, прикрывая рукой распухший нос, он развернулся к ней, и уже не мог отвести взгляда. «Опять, – беспомощно пролепетало в нем что-то, – опять?» Но это «опять», как и час назад, было всё так же приятно и нужно ему.

С шумом проносились одна за другой встречные машины, глухая тьма застилала горизонт. Туда, в самую темноту, напряженно вглядывались усталые, встревоженные глаза пассажиров...

1975

Затмение Апостола

Апостол закрыл глаза.

Низкое солнце прожгло зрачки, подобно вспышке электросварки. Тошнотой подступало к лицу удушливое тепло выхлопных газов. Его знобило до омерзительного холода в костях.

– А я вот что вам скажу, – обернулся Апостол к Иосифу Михайловичу. – Как только женщина приблизится к мужчине, быт, как удав, тут же заглывает обоих. Появляются двери, которые надо красить; окна, которые надо мыть; гвозди, которые надо вбивать; доски – строгать... и так далее и тому подобное.

– Поэтому мужчины предпочитают оставаться любовниками, – скосил глаза на Марину Иосиф Михайлович, – да и женщины давно не ищут в мужчине мужа. Все хотят жить раздельно – в собственных квартирах, а иметь дело на нейтральной территории.

– Я это приветствую, – объявил Апостол и прислушался. Марина промолчала, значит одобрила.

Автобус полз вверх по желтой однообразной дороге. Мелкий гравий дробно стучал по днищу кузова. У желто-зеленой сопки одиноко мерз памятник павшим солдатам.

«Тобой интересовались», – вспомнил Апостол сладкий голос Иосифа Михайловича, и, втянув голову в воротник пальто, задремал, покачиваясь и стучаясь о стекло.

– И вот... возвращаюсь я как-то ночью, – слышит он уже сквозь дрему треп пожилого актера, – а у моего дома парочка целуется. Боже мой, и такая меня зависть взяла. Иди-иди, говорю себе, старый хрен домой, сейчас тебя там поцелуют, что пьяный по ночам шляешься...

«Интересно, замуж она вышла?» То, что новость исходила от Иосифа Михайловича, было особенно неприятно Апостолу, как и сладковатый запах его духов. «Такую красавицу, молодой человек... не хорошо», – он не договорил слово «бросил», но сделал неуловимое движение губами точь-в-точь как сосут леденец.

– Жен у нас не любят, – услышал Апостол сонный голос Марины, – их используют, причем бессовестно. – Она припудрила нос и достала из сумочки тушь. Марина красилась и пудрилась на репетициях, в транспорте, во время обеда, на пляже, даже спала с мужчиной накрашенной. – Нет ничего тоскливей семейной жизни, я за свободу.

– А что такое – эта свобода? – оживился пожилой актер, с трудом втиснув между сиденьями обвисший живот. – Как вы, молодые, ее понимаете?

Апостол задумался, и у него тут же разболелась голова.

– Шлюха, – ответил за них старик, – никого и никогда не любившая – вот вам ваша свобода.

Ему никто не возразил. Автобус укачивал, монотонно подвывая.

– Я хочу сказать, – продолжал старик, – что нельзя быть свободным от своих чувств, от привязанности, от ответственности, наконец.

– Быть свободным, – снова вступил в разговор Апостол, – это, прежде всего, не зависеть от себя, да, именно, *от себя*. И уметь легко делать все, что тебе не хочется делать. Остальное – ложь, и неважно минутная или многолетняя.

Глаза Апостола слепли, увлажняясь, и слипались. Он обернулся к Марине – та уже спала.

Огромное вытянутое озеро круглилось, описывая вдалеке изломанные полукружья. Снег, частью растаявший в низине, здесь лежал нетронутой серой коркой. Ни деревьев, ни избенки. Холмистая буро-серая тундра.

Жена, встреча с которой предстояла Апостолу, со временем стала для него чем-то вроде мифа. Это было так давно, что стерлись в памяти даже черты ее лица. Так, во всяком случае, казалось ему, когда он оглядывался на их жизнь, представлявшуюся Апостолу сценой из какого-то романа или пьесы.

Голова Апостола отяжелела, стучаясь о холодное стекло, он тихо мычал.

За окном ярко белел полярный день. Солнце сутками кружило над горизонтом. Часы показывали четвертый час, но дня или ночи? Это можно было предположить только по числу людей и машин на улицах.

Иосиф Михайлович заявился к ним утром в номер, разбудил. Повертел в руках градусник и положил на тумбочку. «Я жду вас в автобусе, концерт коротенький», – конфузливо извинился он за свое вторжение, в то время как Апостол и Марина стояли перед ним, едва прикрывшись халатом и простыней. «У меня французский аспирин, вылечим», – и деликатно исчез за дверью. Он всегда был настолько опрятен и отутюжен, что редкая женщина замечала, как основательно он полысел.

Автобус въехал в городишко и медленно двигался по пустынным улицам к местному клубу.

Артисты притихли, убаюканные дорогой, и затравленно смотрели из окна.

– Опять нам здесь мерзнуть, как в морге, – возмутилась Марина.

Иосиф Михайлович забежал по клубу и достал два калорифера.

– Еще не встретились? – подмигнул он Апостолу. – А меня уже о тебе спрашивали.

И в самом деле, еще только войдя в клуб, Апостол почувствовал вокруг себя что-то неладное. Ему показалось, например, что его появление было тут же всеми замечено. Он слышал чей-то шепот за спиной, видел украдкой брошенные на него испытывающие взгляды. Маленький носатый человек с узкой головой, заправлявший рабочими на сцене, не только не поздоровался с ним, но при появлении Апостола заметно занервничал. А буфетчица, та спросила напрямую, подавая ему чай: не муж ли он Анны Михайловны?

– Какой Анны Михайловны?

– А разве Оленина не ваша жена?

Апостол пожал плечами и отошел.

– Она давно у нас работает. Очень милая женщина.

Апостол бродил по клубу, утыкаясь взглядом в запертые двери, в детские рисунки на стенах коридора, в носки собственных ботинок, в инструктажи по пожарной безопасности. И вдруг наткнулся на табличку «Оленина А. М.» и толкнул дверь. Он ослеп, попав из коридора в яркий свет комнаты. Солнце косым лучом из окна согревало стол, таявший в радужной взвеси пылинок, наполняя комнату тем особым теплом, каким отличается канун летнего вечера. Рдеют окна домов, ложатся длинные тени и слышится далекий благовест, зовущий душу к молитве.

Стол у окна, согретый солнцем, её стол. Это он понял по расписанию занятий, лежащему под стеклом. Ее призывный почерк: «жду тебя», «встретимся», «приезжай» – обжег, как когда-то в их первый месяц знакомства.

Соблазн был так силен, что он, поколебавшись, сел в ее кресло и, поглаживая подлокотники, оглядел комнату. Стол слева, стол направо, диванчик у двери, рядом круглая вешалка, на низенькой тумбочке у стены электрический самовар, в чашечке недопитый кофе. Здесь кто-то был минуту назад, пил кофе, оставил сверток и, бросив дверь открытой, вышел... Он, как вор, забрался в чужую жизнь. Ощупывает предметы, которыми они пользуются; подсматривает, как они чаёвничают, греются у окна в скупых лучах солнца...

Жена всегда вставала рано, оставляя его досыпать в еще хранившей ее запах постели. Он целовал ее, в шубе склонившуюся над ним, и, едва успевал услышать щелчок входной двери, засыпал. Просыпался с ее приходом – от холодного прикосновения румяных щек и горячего дыхания. Спешил тут же стянуть с нее шубу и все остальное – жесткое, грубое, влажное от снега, освобождая ее тело, как руку из перчатки. «Я хочу тебя», – шептал он, задыхаясь и ощущая тепло ее бедер, нежных и сильных, как и вся она. Им всегда было хорошо. Все начиналось так весело и празднично, вспомнить хотя бы их покусение на ее девственность, обмы-

тое бутылкой шампанского прямо в постели. Они сидели совсем голые, обнявшись, припоминая все страхи, неудачи и, наконец, успех, и пили из хрустальных бокалов, чокаясь о носы друг друга. «Ты понимаешь, что ты наделал? – шептала она. – Теперь я уже никогда не смогу жить без мужчины». И это им было смешно. И ссоры их были смешными. Однажды, обидевшись, она села прямо в сугроб, провалившись по грудь, и ни за что не хотела вылезать. Он притворялся, что уходит, звал её, дразнил елкой, торчащей из сугроба в зеленом пальто, и, наконец, силой вытащил, ухватив под мышки... Они простились на перроне. Она уходила, не оглядываясь, стремительно и деловито. И вдруг обернулась, налетев на кого-то, взмахнула рукой и скрылась навсегда...

– Вас там спрашивают, – перехватила в коридоре Апостола костюмерша.

Она кивнула на дальний закуток, в глубине которого темнела дверь в зрительный зал. Апостол, не разглядев никого, медленно двинулся к двери. От стены отделился силуэт женщины. Ледяной озноб смыло горячей волной. Он видел только ее ноги в белых сапогах, едва сходящихся на икрах. «Аня», – руки схватили ее за плечи: он вдохнул горький «Poison», и его понесло в прошлое, чтобы туг же расшибить о незнакомый голос, пролепетавший: «Пустите же».

– Где нам удобнее поговорить? – услышал он минуту спустя.

Апостол потянул на себя дверь. Удивился, что «заперта», но, навалившись плечом, распахнул настежь. Зрительское фойе оказалось пустым.

– Я сразу оговорюсь, – она торопилась, смущаясь, что краснеет, – меня никто не посылал и не уполномочивал. Я пришла сама, по собственной инициативе. Я немного о вас знаю от вашей жены, и мне показалось... нам следует встретиться.

«Наверное, сидит за одним из тех трех столов». Апостол взглянул на нее с особым волнением. Миниатюрная, средних лет, коротко стриженные волосы. «Аня видит ее каждый день», – подумал он с какой-то непонятной ему душевной теплотой.

– Не уезжайте сегодня после концерта... Я пришла вас пригласить в гости. Анна будет у меня тоже. Я вас оставляю, говорите хоть всю ночь. А утром уедете.

– А разве Аня не замужем?

– Я вас жду после концерта у главного входа, – и она взглянула на него так, будто он только что сказал ей непростительную глупость.

– Пойте хорошо, – предупредила она, – Анна будет в зале.

– Я не пою, – извинился Апостол.

– Ах, вы жонглер?

– И не жонглер.

– Кто же вы? – подозрительно оглядела его женщина. – Впрочем, кто бы вы ни были, жду вас после концерта.

Шаги ее стихли... Солнце согревало часть окна, распространяя умиротворение в пустом и холодном фойе.

Апостол не уходил, медлил. Ему вдруг стало хорошо; так хорошо, что захотелось и в самом деле принять приглашение и остаться тут на всю ночь, а, может быть, и навсегда. Он возьмет Аню за руки, и они проговорят до утра, как это часто бывало с ними. Он засиживался в ее общежитской комнате за полночь. Девочки, отвернувшись к стене, засыпали. У ее постели горела маленькая настольная лампочка «грибок» с металлическим абажуром, на который они набрасывали платок и затеняли комнату. Аня часто болела, несмотря на внешне цветущий вид. Они говорили тихо-тихо. Она лежала в ночной кружевной сорочке в цветочек (она любила цветастое белье), а он, склонившись над ней, рассказывал, где был, что видел. Шептались, шептались, и как-то незаметно начинали целоваться. Время от времени он скашивал глаза, проверяя, спят ли девочки. Аня любила покапризничать, особенно, если у нее был жар,

и тогда он сердился, обещал, что сейчас же уйдет спать, если она не утихомирится. «Уходи», – всегда отвечала она самолюбиво...

– Представляешь, – вернувшись в гримерную, отчитывался он перед Мариной (по взглядам окружающих, Апостол догадался, что она всё уже знает), – подходит ко мне женщина. У нее был скоротечный роман с каким-то шулером из московской бригады. Теперь она спрашивает всех приезжих артистов, не знают ли они ее Диму: играет на гобое, метра два росту, обожает одеколон «О» жён». Она считает, что все артисты повязаны, и ответят в суде, если не откроют ей, где прячется ее незабвенный Дима. Я посоветовал дать объявление в «Советскую культуру».

Марина молчала. Котеночек, подаренный ей Иосифом Михайловичем, терся о её щёку. Она не верила ни одному слову Апостола, и теперь ему долго придется убеждать её в том, что весь этот год он тайно от нее, Марины, не жил с собственной женой.

Апостол, переодеваясь, машинально слушал чей-то фантастический рассказ о телепатических свойствах идиотов. У единственного зеркала он оглядел себя, подчеркнул растушевкой глаза. Сначала он это сделал, и только потом его передернуло. «Неужели тебе, – подумал он, – так хочется понравиться жене?» И если бы перед ним было не зеркало, а его собственное лицо, он, честное слово, врезал бы себе в челюсть.

– Имей в виду, – услышал он голос Марины, остановившейся у него за спиной, – ужина не будет. Позаботься о себе сам.

Её отражение в зеркале отделилось. Апостол, тоже собиравшийся идти на сцену, задержался и дал ей уйти. «Это как же понимать, – спросил он себя, – выходит, я уже избегаю ее».

За кулисами, убедившись, что никто не смотрят, он прильнул к дырочке в занавесе. Он так волновался, вглядываясь в зал, будто об этом тут же станет известно не только его жене, но и всем жителям этого маленького города. Зал был полон. В его полутьме и суматохе не только нельзя было кого-либо разглядеть, но нельзя было даже отличить женщину от женщины, мужчину от мужчины – просто, одни были в юбках, другие в брюках.

Пошел занавес. Апостол отпрянул в кулисы. Но его тянуло еще разок глянуть в зал, где сидела его бывшая жена – и не было сил этому сопротивляться и ни о чем другом он не мог думать. «Так, значит, ты остаешься?» – как с больным, разговаривал он сам с собою. И тут же посылал себя: «Да иди ты, знаешь куда?» Он, конечно, помирится с Мариной, хотя этим как бы признаёт её правоту, раз сам ищет примирения.

В полутьме кулис кто-то взял Апостола за плечо. Иосиф Михайлович дружески подмигнул ему.

– Сейчас тебя обрадую. Тебе выпала честь посетить с небольшой группой некую военную часть... тут недалеко – всего полтора часа катером. Сразу же после концерта.

Апостол отупело смотрел на него.

– Я же простужен. Вы не забыли?

– Надо. Это ненадолго. Военно-шефская работа.

– У меня температура. Я весь хриплю.

– Выпей сто грамм за мой счет, я разрешаю. И поезжай.

– Но я не поеду.

– А вот это уже не в моей компетенции, – холодно заявил Иосиф Михайлович. – Шефская работа входит в условия нашего договора.

– Но я болен.

– Бюллетень, – вращая одним глазом, потребовал, не смутившись, Иосиф Михайлович.

– Ладно, – сказал Апостол после долгой паузы. – Я поеду. Будьте вы прокляты.

– Ну вот, сразу бы так, – заулыбался Иосиф Михайлович.

Апостол дрожал, теперь уже не понимая, от озноба или еще от чего.

– Я уезжаю на катере в какую-то часть, – бросил он на ходу Марине.

Она, наконец, обратила на него внимание.

– Ты же болен. Ты сказал об этом?

– Там меня ужином и накормят, – ответил ей Апостол.

Если бы не этот разговор с Иосифом Михайловичем, он был бы сегодня в ударе. Он хорошо знал это состояние, обещающее успех. Теперь же, выйдя на сцену, он старался только не лязгать зубами, мучимый ознобом. Отработал номер, съел свою порцию аплодисментов, кусачим взглядом шаря на поклонах по залу. Но ни в одной из тех групп, что выхватил его взгляд из шипящей людской глазуньи, не было женщины, хотя бы и отдаленно напоминавшей ему Аню.

Где-то в коридоре мелькнуло лицо Марины. Из темного угла шел на него Иосиф Михайлович.

Апостол долго околачивался под дверью, в нетерпении ожидая антракта. Уж очень ему хотелось, чтобы Аня пришла за кулисы. А если она и в самом деле придет – катастрофа. «Только бы она не пришла», – шептал он, подходя к двери в зрительское фойе и подглядывая в щелку.

Прозвенел первый звонок. Зрители томились в буфете праздной толпой. Апостол пожирал их глазами. «Придет – не придет», – гадал он, и метался от зрительского фойе к сцене и обратно. Но где бы он ни оказывался, он всё время наткнулся на вопрошающий взгляд Марины. И чем дальше мысленно уходил от нее, тем сильнее сжималось сердце при виде её напряженных глаз, следивших за ним. «Боже, только бы она не пришла».

Апостол сознавал, что стóит ему увидеть Аню, и... Как же он хотел этой встречи, просто бредил ею. «Ну, пожалуйста, – бессознательно шептал он, – покажись, помоги мне. Я не могу тебя искать в толпе, я не буду тебя искать». Ему казалась такой важной эта их встреча. «Неправильно я живу, – твердил он себе, – менять надо жизнь».

Третий звонок. Пара за парой покидали зрители фойе. Вот погас верхний свет. В полумраке дежурного бра торопливо исчезла замешкавшаяся семья. В опустевшем фойе остались буфетчица и женщина, сидевшая в одиночестве за грязным столиком.

Апостол вернулся на сцену, по дороге взглянув на себя в зеркало. Нарочито медленно причесался, снял ваткой остатки грима. И вдруг, круто развернувшись, едва не сбив костюмершу, бросился обратно в фойе. Вокруг было пусто и темно. Столики убраны, сдвинуты стулья – никого. Горло сжала острая и сухая боль.

Апостол долго бродил по темному фойе. Заглядывал в зал, выходил на улицу – искал ее. Никогда он ещё не испытывал ничего подобного. Была ли это любовь или что-то другое? «Где мой дом?» Ощущение дома он потерял вместе с Аней...

После свадьбы они жили в деревне у деда. На дворе был сентябрь. В середине дня солнце припекало совсем по-летнему, но ранним утром лужи покрывались тонкой корочкой льда. Выйдешь на крыльцо, неслышно выскользнув из объятий жены, жарких и дурманящих, и тебя восторженно охватывал колючий, искрящийся в слепых солнечных лучах студёный воздух. Дух захватывало. Одним движением стягивал с себя пижаму и вставал под ледяную струю воды из самодельного душа. Брызгался, кричал и щурился, подставляя лицо солнцу. И пока он плескался во дворе, на кухне уже готовился для него завтрак. Аня появлялась на крыльце, закутавшись в халат, сонная, улыбающаяся, с едва заметной складочкой на щеке от подушки, – и звала его...

Пока Апостол собирался на шефский концерт, Марина не спускала с него глаз. Вдруг она хватилась котенка, которого подарил Иосиф Михайлович, и, не найдя, расплакалась. Потом встала в дверях и заявила всем, что никто не выйдет отсюда, пока котенок не будет найден. Под расплывчатым «никто» она имела в виду Апостола. Она точно помешалась – ничего не слышала, не понимала, со всеми соглашалась и продолжала удерживать Апостола, заставляя его рыскать по комнате.

– Ну, всё, – бодро хлопнул в ладоши Иосиф Михайлович, – надо ехать.

Марина перекрыла выход:

– Он никуда не поедет, – объявила она. – Будет искать, пока не найдет.

– Дался тебе этот... – устало бросил Апостол.

– Да, дался! – крикнула она с таким ожесточением, что Иосиф Михайлович поморщился и отвернулся. Её глаза увлажнились, голос осекся.

– Эгоист, – бормотала Марина, вышвыривая из ящика театральную обувь, – ни до чего тебе нет дела. Котенка уберечь не смог. Я никто для тебя... пустое место.

Иосиф Михайлович молча ходил из угла в угол и смотрел на часы. Автобус сигналил не переставая.

Было пасмурно и промозгло. Они ступили на палубу морского катера и тот сразу же отчалил. Апостол не захотел спускаться в каюту, остался наверху. Спирт помог ему согреться, но не снял с души камня.

– Она мне нравилась, – оправдывался Апостол, допивая с жонглером спирт. Он чувствовал себя предателем, распоследним негодяем.

Катер, натужно сотрясаясь, тащился по морской хляби один-одинёшенек. Мерзко хлестал по лицу сырой ветер, брызгалось из-за борта море, а вокруг пустынные воды, казалось, еще минуту – и катер развалится от непосильного напряжения, с которым переползал с одной волны на другую.

Жонглер грозил кому-то пальцем, слушая Апостола, и смотрел за борт в серую пучину.

Жар, усиливаясь, жег изнутри. Апостол следил за крючковатым пальцем жонглера, и с удовольствием сгорел бы от этого жара, если бы мог. Но если бы он попытался отыскать разрушительницу спокойствия, ею оказалась бы бесхитростная мысль: «Ты отвечаешь за них – вот ты и попался». И о чем бы он ни думал, все сводилось к этой одной простой мысли.

Они долго еще говорили. Апостол согрелся и задремал. Очнувшись, заметил, как по берегу всё ходит взад-вперед удивительно знакомая женщина. У неё строгое лицо и умные глаза. Когда её глаза внезапно обнаружили его, он бросился в море и поплыл. Волны стремительно понесли его, обжигаяще холодные, накрывая с головой. Ему было легко и приятно плыть. Он выныривал, отбрасывал налипшие на лицо волосы и плыл дальше. Она с радостным изумлением следила за ним с берега, удивляясь, что он стал увлекаться спортом. На что Апостол кричал ей с восторгом, что ничего теперь, кроме спорта, не признает, и, не давая себе опомниться, всё быстрее и размашистей плыл к берегу...

...Он понемногу пришел в себя, поднял голову. Над ним низко парила чайка. Она спустилась, почти зависнув над катером. Апостол помахал чайке рукой, и она подозрительно попятилась в воздухе и, преследуя катер, еще долги опасно поглядывала на Апостола – чего это он там размахался.

1977

Первый встречный

Перед заходом солнца от старого бревенчатого дома, пиная собственную тень, шел человек с шишковатым лицом – в фуфайке, сапогах и черной замусоленной кепке.

Дом стоял на отшибе, на высоком берегу реки. И с каждой минутой, как солнце уходило за дом, тени удлинялись, и резко свежело.

– Извиняюсь, не знаю как вас по батюшке, – еще издали обратился мужичок к актеру одетому в форму белогвардейскую офицера, – бабы между собой толкуют – вы самый главный тут. Так прикажите забор на место поставить. А-то *ваши* поленницу разобрали, свалили в огороде на грядки... обещали сложить обратно и бросили. Жердины от забора отломали. Окно в комнате высадили, и кто мне теперь его вставит. Вы уж прикажите им. Негоже нас обижать. А мы для вас баньку истопим. Бабы бумагу от вас просят, так мы и закуску сделаем.

Офицер с изумлением смотрел на длинного, как жердь, мужика.

– Так не обижайте, велите поправить забор, – переминался тот с ноги на ногу, тыкая рукой в сторону своего дома, вокруг которого остались торчать только редкие столбики, а оторванные жердины валялись на земле.

– А за окно, может уплотят. За что нам такие убытки на себя принимать. Нашей вины тут никакой нету. И ваш... этот, – мужик что-то изобразил руками, – божились, что уплотит.

– А при чем тут я? – наконец отозвался офицер, ежась от студеного ветерка, потянувшего с реки.

– Бабы к вам послали, как вы, говорят, у них самый главный.

– Нет, я не главный. А вон стоит в кожаной куртке, он у нас главный.

– Нет, – отмахнулся мужик, – к нему не пойду. Он ругается. Вы уж прикажите.

Смуглое, с кулачок, лицо мужичка подергивалось как бы перекатывавшимися под кожей горошинками. Глаза слезились, следя за офицером продолговатыми, как зависшая капля, черными зрачками.

– К сожалению, ничего не могу для вас сделать. Я тут не распоряжаюсь, – вежливо извинился офицер.

Поднявшийся внезапно ветер крепко ударил в лицо. Еще заманчиво сияло небо за темным силуэтом дома, но тени там, где стоял офицер, уже исчезли, как и на той стороне реки, где темнели копны скошенного сена.

– Тогда дайте бумагу, – приставал мужик к офицеру.

– Какую бумагу? – сердился офицер.

– Красненькую. Мы баньку истопим, и закуску сделаем, и стекло вставим.

– Это вы с нашей администрации требуйте, и, вообще, не мое это дело. Я артист, понимаете. Нет у меня денег.

– Значит, никто забор не поставит? – загрустил мужичок. – Они и проводку на доме обрезали, – вдруг ахнул он, показывая пальцем на голые фарфоровые чашечки.

Провод свисал свободным концом со столба длинной петлей.

– Как же мы будем? – спрашивал он, стоявших поодаль стариков и старух

– Ну, что опять тут за разговоры, – накинулся на него администратор в кожаной куртке и желтой кожаной кепке.

– Зачем свет отрубили?

– Ты чего дурачком прикидываешься?

– Вон провода нам оборвали.

– Оборвали, значит так надо. Кино, ты понимаешь? Понадобиться, и дом твой снесем.

Мужичок, не мигая, растерянно смотрел на администратора. Обожженное солнцем лицо сморщилось, обрубленный нос повис. Он сел на бревна и сдавил голову руками.

У бревен собралась массовка. Ждали автобуса.

Офицер вздрагивал от набиравшего силу ветра, не стихавшего ни на минуту, и натягивал на запястья короткие манжеты кителя.

– Едет, едет, – закричали из толпы. И все головы повернулись к скошенному лугу, красному в лучах заходящего солнца.

– Нет, это не к нам, – разглядели артисты ползший по дороге автобус.

Небо над речкой померкло, сошла краснота со скошенного луга. Замычали по дворам коровы. Кое-где затеплился в окнах свет.

Администратор в желтой кепке, как дорожный знак, торчал на краю высокого берега и смотрел в сторону дороги. Молчаливыми теньями бродили в ожидании автобуса артисты.

Автобус пришел, когда высыпали на небе звезды.

– Места не занимать, – кричал администратор, втершись в самую давку и маяча над толпой желтой кепкой, – тут сидят артисты.

– Черт знает, это что такое! – возмутился офицер, когда в автобус, набитый до отказа массовкой, стали впихивать артистов. – Не поеду я, – тихо сказал он, весь побагровев.

– Садитесь, – кричал ему из автобуса администратор, – мы их сейчас поднимем. А ну-ка, освободите места для артистов.

– Мы не поедem, – кричал офицер. – Отвезите людей и пришлите за нами машину. И закажите на завтра билет. Я улетаю в Москву.

Автобус, как утка, тяжело переваливаясь на ухабах, выполз на дорогу и, тычась в неё белым пятном света, медленно покотился к городу. На голом пустыре стало еще темнее и тише.

– Свет отключили, – бормотал на бревнах мужичок, – изгородь сломали, огород завалили дровами, боже, что мне теперь делать?

– И еще окно разбили, – вставил раздраженно офицер, будто он смертельно обиделся на мужика за всё это.

– Да, да, вы так не оставляйте, – поддержали офицера артисты. – А то, дай им волю, камня на камне у вас не оставят.

Мужичок застонал, покачиваясь из стороны в сторону.

– Лично я завтра улетаю в Москву, – самолюбиво заявил офицер.

Мужичок отнял руки от лица и грустно посмотрел на них.

– Может быть, в баньку желаете?

– Какая там, к черту, банька, – ругнулся офицер, – околеешь тут на холоде. А впрочем, можно и в баньку... как вы?

– Нам что, в баньку так в баньку.

Мужичок поднялся с бревен и первым двинулся к дому, вызывая жену.

– Поди, остыла совсем, – извинялся он, когда, минуя его дом, они спускались узкой улочкой к озеру.

– Под ноги смотрите, а то... как бы не споткнуться в такой темени.

Шли молча, шуршали в траве, и вздрагивали от холода.

– Далеко еще?

– Да нет, вон она, – указал мужичок.

Темными скатами крыш темнели на фоне озера деревенские баньки.

– Тут, – сказал он, остановившись. – Как, есть пар? – спросил он у голого мужика, вывалившегося из бани.

– Напарись еще, – обнадежил мужик, – и красный, как рак, бултых в воду.

В тесном предбаннике отовсюду веяло влажным теплом плесневелых бревен и старой одежды.

Мужичок разделся догола и, вздрагивая худым морщинистым телом, белым, как сметана, вошел в парную. За ним заспешили остальные.

Парная была такой же низкой, как и предбанник. В большом черном котле остывала вода. У стенки, покрытой сажей толщиной в палец, на широкой полке стояли две шайки и лежал веник.

Мужичок плеснул на камни теплой водой. Камни слабо зашкварчали, наполняя баню паром.

– Эх, хорошо, – сказал офицер, окатив из шайки худощавое тело, обросшее волосами от пупа до горла, плечи тоже покрывала темная поросль.

– После такой баньки, – вздохнул мужичок, – и беленького чайку выпить не грех.

– А магазин далеко тут? – ухватился за эту мысль офицер.

– Далече, – махнул рукой мужичок, – надо в город ехать или в Хатынку.

– А где эта Хатынка? – не отставал от мужичка офицер.

– А на другом берегу. Но там уже закрыто, и ехать не на чем. Была б лодка, а она у меня течет. Когда брат приезжал, мы тут с ним попарились. И он, возьми, да скажи: «Эх, где бы нам белую головку достать?» Ночь на дворе точь-в-точь как сейчас. Если б я знал, что он приедет, съездил бы в город. А он и папирос не купил. Известное дело – городской, у них там всё есть. А у нас тогда ничего не было, и Хатынки еще не было – пустошь. Давай, говорю, съездим в город. Может, «попутку» какую встретим по дороге.

– Подожди, как «белая головка», – перебил его офицер.

– Так это ж... когда было. Я брата долго искал. Как война началась, его в армию призвали, а я с матерью в селе остался.

Вдруг он побледнел, глаза сильно заслезились.

– Пороли они нас нещадно, – пожаловался он артистам. – И нам это непонятно было. Село как село, люди на работу ходили, всё было. Тут как всех соберут, и давай нас перед всем народом... пороть... партизаны... юды... лопочут...

И он горько заплакал, вытирая крючковатым пальцем слезы, морщась и вертя головой от смущения.

– А мать... так и не дожидая до освобождения, померла.

Он сидел на верхней полке, свесив ноги, худые, в узловатых венах, и плакал.

– Разденут, баб сгонют, и давай лупцевать. Поначалу стыдно, лежишь голый, смотришь на девок, за которыми на гулянках... на мать в толпе – она вся трясется. Сцепишь зубы, и молчишь. А он гад чует, что терпеть уже не вмоготу, и еще подлюка наподдаст, да с оттяжкой. Лежишь, считаешь – еще малость выдержу, а дальше нет. Кричать охота, ерзаешь... как на сковороде, а он, знай, вжаривает и вжаривает. Да с передыхом... *Сил* больше нет, а он, будто токо начал, и хлещет, и хлещет... и начинаешь орать, страшно, из утробы, голоса не слышать, токмо рот разрывает от крика, и кровь во рту, и глаза из орбит лезут, дергаешься, визжишь, воешь, трясешься, всё тело кровью набрякло, онемело, будто ошпаренное кипятком. А он гад, поймал раж, и ему тут самое удовольствие. Он еще тормознет чуть, и смакует – врежет со всего маху по кровянистому месту и замрет... еще раз, и снова замрет, и так пока не истекёт удовольствием. А когда уже насытится, отбросит кнут... и отвалится.

Мужичок не мылся. Его трясло, ноги ходили ходуном, руки скрючило, лицо подергивалось, и глаза полубезумные.

– Как не рехнулся тоды, и сам не знаю. Его не видал, но чую, как он стоит надо мною и причмокивает, и дышит так, будто бабу в сенце наярявает.

В деревне залаяла собака. Ей отозвалась другая, им третья, и началось на все лады – и тявкают, и гавкают, и заливаются, и тяжело бухают хриплыми голосами.

– Кто-то всполохнул, – прислушался мужичок, сказавшись Никитой, – чужой к кому забрался али машина проехала.

Артисты заторопились. Офицер, пристроившись с краю лавки, явно стесняясь своей буйной растительности, обросший, как медведь, хлестал по спине веничком и терпеливо счищал

с себя пот крышкой от мыльницы. Двое других – лысоватый с белой бородкой и совсем молодой парень плескали воду на камни, поддавая жару, и терли друг другу спины.

– Вы не очень-то размывайтесь, – крикнул им офицер, – а то нам ничего не останется.

– Холодной воды можно еще принести, – встрепенулся Никита, – а горячая вся тут. Мы только паримся, а моемся прямо в озере. Тут намылишься, а смывать в озеро бежишь.

– Холодновато, – поежился офицер.

– Нет, ничего. Мы до поздней осени кунаемся.

– И ночью?

– А-то как же, чтоб бабам не видать. Ночью вода аккурат теплее кажется. Я, когда с братом моюсь, он... нет, ни в какую не идет. А вечера здесь теплые, тихие. В озере, как в парном молоке плаваешь. А он – нет, не понимает, городской. Щеточки привез с собою, сел вон тут, даже наверх не полез, «жарко», говорит. А я старался. На радостях баню натопил, что ни продохнешь. Сперва ножницами долго стрижет ногти, потом их щеточкой трет, и пятки, и подошвы, а уже потом мыться. Весь котел один и выплескает. А мы из этого котла вшестером моемся. А в озеро так и не идет.

– Ну, а «белую» достал ты ему? – вспомнили артисты.

– Достал

– Где? – подскочил артист с бородкой, стукнувшись головой о полку.

– В город поехал, там и достал.

– А черт, – вздохнул артист, потирая ушибленное место.

– И так неловко всё получилось, что и вспоминать тяжело. Вышел я на улицу, ни одной попутки. Через час догоняет меня полуторка, что «кино» нам привозит. До города добрался, а магазины уже закрылись. Ну что, думаю, пешком идти назад, так к завтраму приду? А брату и папирос надо, и, может, из продуктов что, хлеба там и еще чего. Я и остался переночевать. Утром, думаю, магазин откроют, я куплю всё, а на попутке вернусь в деревню. Брат меня уважил, приехал, костюм мне привез. Новый, только с год он его и носил. Хороший, двубортный, по три пуговицы с двух сторон – сам серый и полоски на нем черные. Вот брюки широковаты на мне. А жена говорит, ничего, ушью их тебе. Я надел костюм, очень им понравился в братнином костюме. А то, что пинджак свободный, даже хорошо, летом не жарко, воздуху есть где быть, а зимой поддевку можно теплую надеть. Брат у меня мужчина крупный. Приехал мордатый – у них там, на севере, и еда хорошая, и плотют им хорошо. Такое нарасказывал про ихонюю жисть, нам и не снилось. Рыбу, говорит, мы руками берем. Встанем поперек речки, расставим ноги, и только черпай в корзинку. Рыба скользкая, одна уйдет, другую подберут... И трудно ж его было найти. И бумаги, кажись, много я извел, и начальству у нас надоел, а нашел-таки брата.

– Что ж он умер? – спросил офицер, стоя по уши в мыле.

– Спаси, господи, живой, а как уехал – ни письмаца, ни какого другого известия. Я звал его, хотел сам поехать. Да, боязно. Далёко. Я из своей деревни только в город и ездил. А как там у них живут, и не знаю. Я ему говорю тогда, что ж ты про мать не спросишь, а он махнул рукой: «А зачем спрашивать, зря душу травить, царствие ей небесное». Во, как рассуждать умеет. И на работе его, сказывал, уважают, хоть и в городе живет. И все слушаются. А как его не послушаешься. Я и малым всё у него на побегушках был. Только крикнет: «Никитка, сбегай за огурцом в огород», и уже тащишь ему огурец. Как же это я заявлюсь к нему без папирос и без «беленькой». Нет, думаю, дождусь утра. Кругом темень, я в какой-то сарай залез, привалился в потемках к стене, пинджак подстелил и задремал. Озяб за ночь так, будто трясушка на меня напала – бьет меня, трясет. зуб на зуб не попадает. А ночь, кажись, не холодной и была, а так – свежо было. Утром дождался, когда магазины открылись, купил папирос, «белую», колбасы, хлеба – и домой. Бегу шоссейкой что есть мочи, оглядываюсь. Ждет меня брат, не дождется. А по пути хоть бы одна машина попалась. Не ел я со вчерашнего дня, в голове шумит, тело

ломит, а солнце поднялось уже высоко и жарит. Кругом место открытое – поле. Снял я сапоги, чтоб ногам легче было. Сопрели в сапогах, болят. Ну, думаю, дойду до дому, там и отдохну. Хоть... как вот увижу дерево у дороги, так и тянет лечь под него и лежать, пока не стемнеет. Пришел в деревню, шатает меня, ослабел доро́гой – на жаре, не емши, но, думаю, аккурат к обеду подоспел. Вхожу в дом и прямо в горницу. А брат сидит за столом в одних портках, в галошах на босу ногу, насупился, и смотрит на меня: «Где, – говорит, – черти тебя носили? Так-то ты брата своего уважаешь. Я денег не пожалел, с севера к тебе приехал, костюм тебе привез, а ты шляешься где-то пьяный». Я и вправду стоять не могу на ногах от слабости. «Вон, – кричит, – пьяная рожа! Видеть тебя не хочу!» Я ж как лучше сделать хотел. Разве я его не уважаю. Кажись, всё б для него сделал. Пять лет его искал, думал, что в живых уже нет. Что ж я лиходея какой, чтоб брата рóдного бросить, и пьянствовать. Я к жене, «заступись», говорю. А она рубашку ему стирает, а на меня не смотрит. «Иди, говорит, от меня подзаборник». Всё ему выстирала, высушила, выгладила. Брат пообедал, выпил вина, что я принес, обулся, забрал костюм и с попуткой уехал. Мы и не простились. Она потом всю жисть меня им попрекала: и какой он хороший, и работающий, и видный. А как-то крикнула: «И мужик он половчее тебя», и в рёв. Жалко ей было его, а мне как его жалко и слов таких нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.